

Виктория Токарева

Ничего особенного



И з д а т е л ь с т в о « А з б у к а »

Виктория Токарева

Ничего особенного (сборник)

«Азбука-Аттикус»

1983

Токарева В. С.

Ничего особенного (сборник) / В. С. Токарева — «Азбука-Аттикус», 1983

Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы.

© Токарева В. С., 1983

© Азбука-Аттикус, 1983

Содержание

Рассказы	6
Самый счастливый день	6
Коррида	12
Сто грамм для храбрости	25
Кошка на дороге	38
Любовь и путешествия	44
Зигзаг	47
Нахал	51
Повести	56
Старая собака	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Виктория Токарева

Ничего особенного (сборник)



© Токарева В. С., 1983

© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

Издательство АЗБУКА®

Рассказы

Самый счастливый день (рассказ акселератки)

Нам задали классное сочинение на тему: «Самый счастливый день в моей жизни».

Я раскрыла тетрадь и стала думать – какой у меня был в жизни самый счастливый день? Я выбрала воскресенье – четыре месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Марья Ефремовна говорит: человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнения Марьи Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и тройку в четверти, но тогда меня не переведут в девятый класс, а отправят в ПТУ. Марья Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы.

Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее принимали в пионеры.

Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в Музее погранвойск и мне не хватило пионерского значка. Шефы и вожатые забегали, но значка так и не нашли. Я сказала: «Да ладно, ничего...» Однако настроение у меня испортилось, и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю, но я ничего не запомнила, кроме того, что мы когда-то делили с японцами какую-то речку и даже разодрались. Однако до войны дело не дошло. А может, я что-то путаю. Я такие вещи вообще не запоминаю. Мне это совершенно неинтересно.

Однажды мы с мамой отвели домой пьяного ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала: нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живет, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома и семья не волновалась. Но самым счастливым днем это не назовешь: ну отвели и отвели...

Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный синхрофазотрон и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни. А у меня единственное, что есть, как говорит Марья Ефремовна, – это большой словарный запас, и я легко им орудую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Например: «Бетховен – плебей, но все, что он достиг в жизни, он достиг своим трудом...» И еще я объявляю на концертах, например: «Сонатина Клементи, играет Катя Шубина, класс педагога Рассоловского». И это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма мне перешли от мамы, а рост – непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы.

Машка Гвоздева, безусловно, попадет в интеллигенцию, потому что от ее мозгов гораздо больше пользы, чем от ее рук. А у меня ни рук, ни мозгов – один словарный запас. Это даже не

литературные способности, просто я много знаю слов, потому что я много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк, нормалек, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то...» и «Ну да, в общем-то, конечно...». И этого оказывается вполне достаточно: во-первых, дает возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно. Во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то...», «Ну, в общем, конечно».

Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали: счастье – это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье – это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, – счастье кончается, потому что счастье – это дорога к осуществлению, а не само осуществление.

Что я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу дубленку вместо своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и срезают пуговицы. Так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу.

А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ на филологический и познакомиться с артистом К. К. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел как свинья, и просто диву даешься, что время делает с людьми.

Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в К. К. Просто он играет д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, будто К. К. – это и есть сам д'Артаньян – талантливый, неожиданный, романтический. Не то что наши мальчишки: «точняк», «нормалек» и ниже меня на два сантиметра.

Я смотрела «Мушкетеров» шесть раз. А Рита Погосян – десять раз. Ее мама работает при гостинице «Минск» и может доставать билеты куда угодно, не то что мои родители – ничего достать не могут, живут на общих основаниях.

Однажды мы с Ритой дождались К. К. после спектакля, отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила: К. К. женат и у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка, потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности, и, значит, часть души остается свободной для новой любви. У нас с К. К., правда, большая разница в возрасте – двадцать лет. Через пять лет мне будет восемнадцать, а ему тридцать восемь. Но пусть это будет его проблемой. А молодость еще никогда и никому не мешала.

Рита сказала, что К. К. – карьерист. В Америке из-за карьеры стреляют в президентов. И ничего. То есть, конечно, «чего», но еще не такие дела делаются из-за карьеры. Неизвестно – отрицательная это черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист, но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурсе. Честно сказать, какое мне дело до Гондураса, а ему до меня, но Марья Ефремовна сказала, что аполитичных не будут переводить в девятый класс. Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду я рисковать из-за Гондураса.

Ленка Коновалова перевернула страницу – исписала уже половину тетради. А я все сижу и шарю в памяти своей самый счастливый день.

В передаче о счастье запомнила такую фразу: «Перспектива бессонных ночей, за штурвалом комбайна...» Может быть, комбайнер тоже был карьерист.

Вообще, если честно, мои самые счастливые дни – это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой

и есть с хлебом. При ней я могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это – не то. Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики раздается оглушительный треск, и мне кажется, что иголка царапает мое сердце. Я спрашиваю: «Нормально ставить ты не можешь?» Она отвечает: «Я нормально ставлю». И так каждый раз.

Когда ее нет дома, в дверях записка: «Ключи под ковриком. Еда на плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую, мама».

Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва – самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохонький воришка-дилетант и даже просто любопытный, с дурными наклонностями человек прошел по нашей лестнице и прочитал мамину записку, то получил бы точную инструкцию, что ключи под ковриком. Открывай дверь и заходи. Еда на плите – разогревай и обедай. А хозяева явятся в шесть. Так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой, а около шести – уйти, прихватив папины джинсы, кожаный пиджак и мамину дубленку, отделанную аляскинским волком. Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы – интеллигенция и живем только на то, что зарабатываем.

Мама говорит: когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, – меня обязательно спрашивают.

Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить как хочу и ни к кому не приспосабливаться. Я вхожу в дом. Ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе. И стоя. Холодное – гораздо вкуснее. Горячее – отбивает вкус.

Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить их и танцевать. Мы танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается: «Не о-би-жайся на меня, не обижайся, и не жалей, и не зови, не достучишься до любви». А в окно хлещет солнце.

Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги: рассказы Хулио Кортасара и пьесы Александра Вампилова. Эти книги маме подарили ее подхалимы.

У Вампилова мне очень нравится: «Папа, к нам пришел гость и еще один». А папа отвечает: «Васенька, гость и еще один – это два гостя...» Я читаю и вижу перед глазами К. К., и мне бывает грустно, что все-таки он женат и у нас большая разница в возрасте.

А у Кортасара в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить – невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы: «А зачем люди живут?» Она говорит: «Для страданий. Страдания – это норма». А папа говорит: «Это норма для дураков. Человек создан для счастья». Мама говорит: «Ты забыл добавить: как птица для полета. И еще можешь сказать – жалость унижает человека». Папа говорит: «Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя». А мама говорит, что жалость – это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен немногим, даже умным.

Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома – мамы нет. И наоборот. Если мамы нет – папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. (У нас была няня, которая не выговаривала «хоккей» и произносила «фокея».) Посмотрев «фокею», прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить: «Не кричи, пожалуйста, говори спокойно». Но я молчу и только моргаю.

Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца. Она видит, что его дубленки нет на вешалке, и ужасно радуется. Быстро переодевается в пижаму, и мы с ней начи-

наем танцевать на ковре посреди комнаты, вскидывая ноги, как ненормальные, обе в пижамах и босиком. У мамы пижама в ромбик, а у меня в горошек. Мы ликуем, но шепотом, сильно разекая рты, и нам бывает невыразимо прекрасно.

А когда у мамы библиотечные дни и она целый день дома, готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера, – вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду.

Она говорит:

– По-моему, он от нас ушел.

Я говорю:

– А как же кожаный пиджак и джинсы? Без них он не уйдет.

– Но он может прийти за ними позже.

– Глупости, – говорю я. – От меня он никуда не денется.

Однако я пугаюсь, и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно. А мне самой хватило бы и троек. И маме тоже хватило бы. Она рассуждает так: «Три – это удовлетворительно. Значит, государство удовлетворено».

– Я с ним разведусь, – говорит мама.

– Причина?

– Он мне не помогает. Я сама зарабатываю деньги. Сама стою в очередях и сама таскаю кошелки.

– А раньше было по-другому?

– Нет. Так было всегда.

– Тогда почему ты не развелась с ним раньше, десять лет назад?

– Я хотела обеспечить тебе детство.

– Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала, ты обеспечивала мне детство.

А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны.

– Ну и пусть.

– Нет, не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться.

– У тебя впереди вся жизнь. А мне тоже хочется счастья.

Я не понимаю, как можно в тридцать пять лет, имея ребенка, хотеть какого-то еще счастья для себя. Но сказать так – нетактично. И я говорю:

– А где ты видела счастливых на все сто процентов? Вон тетя Нина моложе тебя на пять лет, худее на десять килограммов, однако без мужа живет и ездит каждый день на работу на двух видах транспорта, полтора часа в один конец. И занимается каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты – работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают. Занимаешь свое место в жизни. Вот уже пятьдесят процентов. Я – удачный ребенок. Здоровый и развитый. Еще сорок пять. Ничем не болеешь – один процент. Вот тебе уже девяносто шесть процентов счастья, остается четыре процента... Но где ты видела счастливых на сто процентов? Назови хоть кого-нибудь.

Мама молчит, раздумывает – кого назвать. И в самом деле – никто не счастлив на все сто процентов. «В каждой избушке свои погремушки». Или как я где-то вычитала: «У каждого в шкафу свой труп». Но маму не утешает чужое несчастье. Она хочет свои недостающие четыре процента вместо первых пятидесяти. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю:

– Ложись со мной. Я тебя присплю.

Она ложится ко мне под одеяло. Ступни у нее холодные, и она сует их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю. На мой глаз капает ее слеза. Я опять терплю. Я ее очень люблю. У меня

даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что, если начать ее жалеть, она раскиснет еще больше. И я говорю:

– Поди посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас.

Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы.

Тихо скрипит ключ, это папа осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить. Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо, раздевается. И так же на цыпочках идет в свою комнату, и половицы виновато поскрипывают. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашел. И когда он ступает на цыпочках, мне кажется – он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до сорока лет и не буду знать, куда себя девать.

Заслышав папины шаги, мама успокаивается, и засыпает на моем плече, и дышит мне в щеку. Я обнимаю ее и держу как драгоценность. Я лежу и думаю: хоть бы она скорее растолстела, что ли... Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели, тогда – кому они будут нужны, толстые и старые? Только друг другу. И мне. А сейчас они носятся колбасой, худые и в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой?

Между прочим, у Ленкиной мамы вообще нет мужа, трое детей – все от разных отцов, слепая бабка, две кошки и щенок. Однако у них в доме – шумно, хламно и весело. Может быть, потому, что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть. Когда у человека остается свободное время, он начинает думать. А если начать думать, обязательно до чего-нибудь додумаешься.

Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть, а я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь: вдруг со мной что-нибудь случится, попаду под машину или вырасту и выйду замуж? На кого я их оставляю?

И что они будут делать без меня?..

Загоруйко подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Наверное, для него самый счастливый день будет тот, когда «битлы» снова объединятся в ансамбль. Загоруйко знает все современные зарубежные ансамбли: «Кисс», «Квин», «Бони М». А я только знаю: «Бетховен плебей...», серенаду Шумана по нотам и кое-что по слуху.

Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку, не переведут в девятый класс, и я буду токарь-наладчик или буду швея-мотористка. Швея с большим словарным запасом.

Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Где-то я прочитала: каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором он жил.

Я вспоминала, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать в лунку и дерево лучше прижилось. Подошел Загоруйко и предложил:

– Давай помогу.

– Обойдусь, – отказалась я и поволокла ведро дальше. Потом я высыпала землю в лунку и разжала ладони.

На ладонях был след от дужки ведра – глубокий и синий. Плечи ныли, и даже ныли кишки в животе.

– Устала, – сообщила я окружающим с трагическим достоинством.

– Так и знал! – ехидно обрадовался Загоруйко. – Сначала пижонила, а теперь хвастаться будет.

Противный этот Загоруйко. Что думает, то и говорит, хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрывать свои истинные чувства. В том случае, когда они неуместны.

Но что бы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколениям. И, значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятерку, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность.

Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать минут. Я встряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит мне что хочет. Все равно ни эгоистики, ни карьеристики из меня не получится. Буду жить на общих основаниях.

Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с Де Фюнесом в главной роли, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивались и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу (хотя мама утверждает, что бабушкина рыба – несоленая и пахнет аммиаком, будто ее вымачивали в моче). Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы – бабушкины – карие, бровки домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево: бабушка – корни, папа – ствол, а я – ветки, которые тянутся к солнцу.

И это было невыразимо прекрасно.

Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня – впереди.

Коррида

– Внимание! Мотор! Начали!

Сережа Кириллов пошел по дороге, как идет пьяный человек. Не актер, играющий пьяного. А именно пьяный: с напряженной спиной, неточными ногами.

Аникеев подумал, что Сережа успел где-то выпить с утра или не протрезвел с вечера. Это не имело значения. Шел он замечательно, и в душе Аникеева зажглись радость, веселая сосредоточенность и азарт. Должно быть, похожее чувство испытывает гончая собака, верно идущая по следу.

Аникеев махнул рукой. Ярко-красный «жигуль» хорошо взял с места. Хорошо пошел... Сейчас должен быть Сережин прыжок. Сережа должен отскочить как от удара. «Жигуль» должен проехать, не останавливаясь... Скрежет тормозов... Сережа отскакивает, но почему-то не в сторону, а вперед. Падает. Лежит лицом вниз, припав щекой к дороге. Лежит хорошо, не как актер, играющий аварию, а как сбитый машиной человек. Но почему машина остановилась? Она должна идти дальше и не сбавлять скорость... А машина стоит, и шофер положил голову на руль. Отдохнуть, что ли, решил?

Аникеев стоял, ничего не понимая, и вдруг почувствовал: что-то непостижимое разлилось в воздухе. И птицы отлетели. Он растерянно обернулся. Съёмочная группа застыла – каждый в своей позе, со своим выражением лица, будто в детской игре «замри-отомри». Через мгновение все задвигалось, устремилось к дороге.

Аникеев протолкался сквозь спины, плечи.

Сережа лежал расслабившись, как во время йоговской гимнастики. И по тому, как покорно прислонился лицом к дороге, чувствовалось – это не человек. Это тело.

* * *

Районная больница выглядела неубедительно. Но хирург, молодой и серьезный, производил впечатление. А даже если бы и плохое... Выхода не было.

Сидели на деревянной лавке в закутке, где принимают передачи. Съёмочная группа разбилась на маленькие группки, жались, как козы. Лица у всех были разнесчастные. Сережу любили. А даже если бы и не любили...

Аникеев подумал: хорошо, что сейчас нет Сережиной жены Светланы. Она бы учинила самосуд и всех истребила без суда и следствия: сначала шофера Пашу Приходько, потом бы его, Аникеева, а потом сама бы повесилась на крюке. А может, плохо, что Светланы нет. Она не разрешила бы Сереже пить. Или не разрешила сниматься пьяным. И все было бы сейчас по-другому: отсняли бы финальную сцену. И самые первые кадры – те, что идут до титров.

Сережа не взял Светлану в экспедицию, потому что хотел отдохнуть от ее любви и сильного характера. Светлана – профессиональная жена. У нее нет другой профессии и другого призвания, кроме Сережи. И если бы Сережа, например, стал непьющий, нормальный, положительный товарищ – Светлане просто нечего было бы делать на своей должности. И очень может быть, она бы с нее ушла.

Таких женщин Лилька называет крестоносцы, и удивительно, как эти крестоносцы находят свои кресты.

Время тянулось настолько медленно, что практически не двигалось. Оно остановилось и стояло в этой деревянной больничке, пропахшей старым хлебом.

Можно было обо всем подумать. Аникеев сидел и думал беспорядочно то об одном, то о другом. О том, например, что если его посадят в тюрьму, то Лилька будет ждать и Славку воспитывать правильно. А может, даже отдаст Славку старикам и сама припрется на поселение.

Будет околачиваться за колючей проволокой с несчастным лицом, чтобы Аникеев наглядно видел, что она его любит и страдает. А ему было бы легче? Ну конечно...

Потом стал думать: посадить, конечно, не посадят, потому что виноват актер. Все было рассчитано. Техника безопасности соблюдена. Машина должна была пройти на полметра позади Сережи. Сережа должен был отскочить, но он не отскочил и, более того, нарушил эти пятьдесят сантиметров. Не дал дорогу машине. Так что посадить не посадят, но могут лишить права постановки. Все-таки человеческая жизнь есть жизнь, и нельзя сделать вид, что ничего не случилось. Нужно кого-то наказать. Да и Светлана за этим делом проследит, можно не сомневаться.

Лишиться права постановки и сесть в тюрьму для Аникеева было примерно одно и то же. Он не умел жить вне работы и, где проводить свое свободное время – в кругу семьи или на лесоповале, – ему было почти все равно. По-настоящему он любил только вымышленный мир, который сам придумал, сам записывал на бумаге, а потом снимал на пленку, а потом монтировал в фильм. А потом, в срок сдачи, он надевал строгий костюм, белую рубашку с модным галстуком – садился и смотрел. И все. Дальше шли премьеры, банкеты, пресса, кинопанорамы, призы, заграничные поездки, но все это не имело отношения к той, вымышленной жизни, а значит, было неинтересно. Отсняв фильм, Аникеев терял к нему всякий интерес, как к отшумевшей любви, когда смотришь и не понимаешь: что ты раньше здесь находил? Он уже заболел новым замыслом, и этот новый замысел казался ему самым значительным из всего, что он делал до сих пор. И единственное, чего Аникеев в этих случаях боялся: умереть раньше, чем закончит работу. Главное – закончить, а потом – хоть потоп! И жизнь он любил только за возможность уйти от нее в свой вымышленный мир. А реальный мир он не любил и побаивался. Реальностью занималась Лилька.

Зачем гончая идет по следу? Не затем же, что ей, собаке, так уж нужен заяц. Она обойдется и без зайца. И не для хозяина, то есть, конечно, для хозяина. В большей степени для него. Но в основном потому, что гончая собака – это гончая. И никакая другая. И ее назначение – природа, погоня, ошеломляюще острый нюх – стихия катастрофических запахов и тот единственный, различимый среди всех, заставляющий настичь. Победить. И принести хозяину. И когда гончая возвращается домой, в свою конуру или на подстилку в доме, туда, где она живет, то остаток дня она проводит как обыкновенная собака – дворняга или болонка. И она переживает этот кусок времени, чтобы дожидаться следующего рассвета, когда снова лес, и след, и ощущение, которого не знает ни одна собака.

Так и Аникеев. Вне работы он скучал, перемогался, был занудливым, не любил застолия. Ну, сядешь за рюмкой. Ну, выслушаешь чью-то точку зрения по поводу чего-то. Ну, изложишь свою точку зрения, которая может совпадать с мнением предыдущего оратора, а может быть противоположной. Ну даже если поспоришь и в ссоре родишь истину. Ну и что? Что это за истина? И что изменится в мире, оттого что ты на нее набрел?

Надоело говорить, и спорить, и любить усталые глаза. То ли дело сделать в воздухе жест, одной кистью, как фокусник – и на развернутой ладони твои герои. Еще жест – куда-то за ухо, и вот герои уже живут по своим собственным законам и все время спрашивают: почему? А он, Аникеев, должен за них думать – почему так, а не по-другому?

Аникеев вывел два собственных закона, по которым он разрабатывал характеры: математика и интуиция. Характер – это судьба. А всякая судьба подчиняется математической логике, и ее можно высчитать. Потому что причины и следствия стоят в строгой зависимости друг от друга и ничего не бывает «вдруг». Наверняка это открытие уже существует, и какой-то ученый уже имеет патент, но Аникеев дошел до этого открытия самостоятельно, своим умом. Если взять за исходную точку определенный человеческий поступок, то потом можно точно высчитать – чем это кончится для данного характера. Народная мудрость этот закон сформулировала

так: что посеешь, то пожнешь. Если бы этой пословицы не существовало в фольклоре, Аникеев дошел бы до нее своим умом и именно так бы ее и сформулировал.

Математика – это то, что можно объяснить. А интуиция – это то, чего объяснить нельзя. Пока нельзя. Аникеев предполагал, что интуиция – это тоже математика, но другая, основанная не на цифрах, а на чем-то, что еще не изучено, но наверняка существует в природе и будет со временем обязательно и оформлено в закон.

Например, Аникеев был точно уверен, что с Сережей скоро что-то произойдет. Сережа и математически, и интуитивно шел к своему концу. Отсюда этот взгляд, исполненный трагизма. Плохое слово «исполненный». Но именно исполненный, полный и переполненный тревогой, тоской. Отсюда эта иссушенность, злость, нежная душа. Отсюда эта детская линия рта. Прекрасная игра. Он играл, перевоплощался, как никогда, всею силой своего таланта – и это тоже было как перекаливание лампы перед концом.

А как его любили женщины... Когда встречали эти глаза, этот рот – всем, даже самым гордым и порядочным женщинам хотелось прижать к себе, притиснуть руками, обшептать растерянное лицо: «Тихо, тихо, успокойся, все будет хорошо...» И прижимали. И шептали. И он слушал, а потом уходил. Просачивался, как песок сквозь пальцы. Только что был. И нет. Плевать ему на этих женщин, на их надежды. И на себя в том числе. Он болел равнодушием. А теперь вот гибнет – и плевать ему на то, что мог бы пожить еще сорок лет. И на картину плевать. И на Аникеева.

Природе не безразлично – поэтому, когда он упал, что-то непостижимое разлилось в воздухе. И птицы отлетели. А Сережа припал щекой к дороге и отдыхает. Ото всех и ото вся. Лежит себе без сознания и ничего не осознает: ни боли, ни ответственности.

А как быть с картиной? Что делать дальше? Искать другого актера и переснимать весь материал? Или доснять то, что осталось, с дублером? Натурные съемки на реке можно снять с дублером. Найти такую же тощую фигуру, посадить в лодку – и все дела. Но павильон... Крупные планы. Нужны Сережины глаза. А где их взять...

Может быть, законсервировать картину, скажем на год, и подождать Сережу, если он останется жив. Но что будет через год? Через год Аникеев может не захотеть вернуться к этой картине. Он может стать другим, и то, что занимает его сегодня, через год может показаться полной белибердой. Мурой собачьей. А может, через год Лилька бросит или усталость грянет в сердце. А снимать с усталым сердцем – все равно что идти по следу с насморком. Гончая бежит и ничего не слышит. Бежит, только чтобы видели, что она бежит. Нет. Откладывать нельзя. И если его не лишат права постановки, надо будет заменить Сережу другим. Но другой – это другой. Другая картина.

...Что было вначале? Водка или равнодушие? Что причина, а что следствие? Понимая все, Аникеев понимал и то, что Сережа не может не пить. Водка бросала его оземь и ниже – в преисподнюю. А творчество возносило как угодно высоко. К самым звездам. И только в выси понимаешь, как тянет преисподняя. И только в преисподней знаешь, как зовут звезды. Вот эти расстояния – от самого дна до космоса – были необходимы его душе, и только они спасали от равнодушия. И не спасли. А сейчас поднимется хипеж, дойдет до начальства, начнут разбираться, ставить «классические вопросы»: «кто виноват?» да «что делать?».

Математика и интуиция. Вот и все. Что посеешь, то пожнешь.

Ассистентка по актерам Зина сбегала в магазин и принесла килограмм пошехонского сыра и серый хлеб. Хлеб был свежий, с хрустящей коркой, какого-то особого помола. Такого не было в Москве.

Аникеев взял в руки кусок хлеба, хотел откусить, но не мог. Не кусалось и не глоталось.

Перед глазами все время, как навязчивый рефрен, прокручивается мгновение, когда Сережа летит и падает. Летит довольно нелепо. И падает очень тяжело. Если бы вместо Сережи

был каскадер, как планировали накануне съемок, то каскадер отскочил и упал бы ловко и даже красиво, как циркач. А правда – это правда.

Аникеев вдруг вспомнил, что оператор стрекотал камерой до тех пор, пока все не побежали к дороге. Значит, он снял гибель Сережи, и этот документальный кусок можно будет использовать в картине. А поскольку сцена гибели героя – финальная сцена, то конец получится сильный. То смятение, соучастие в несчастье, которое заставило людей застыть, а птиц отлететь, передалось и на пленку. А значит, достанет зрителей. Кино окончится, свет зажгут, а зал все будет сидеть, как в детской игре «замри». Потом в конце концов выйдут на улицу, на свежий воздух, а все равно будут двигаться, как сомнамбулы. Чужое горе будет держать за шиворот.

Надо будет посмотреть материал, и если нет брака в пленке, то конец – есть. А это – полдела. Как говорил мастер в институте: «Конец – делу венец». Еще мастер говорил: «Сюжет. Учтите, самое главное – сюжет. Зритель идет не на актеров, а на историю. Актер ничего не сможет сделать, если нет истории. Если вы хотите проверить, готов сюжет или нет, посадите кого-нибудь перед собой, все равно кого, и расскажите ему фильм в двух словах. Если рассказется и будет интересно, значит, сюжет готов. Если начнете мекать, пекать и объяснять – значит, не додумано. Думайте дальше...»

Многое из того, чему учили во ВГИКе, не пригодилось. Но этот мастерский совет Аникеев проверил не раз на собственной шкуре и на опыте других. Он убедился: любое отвлечение от сюжета – философское, эстетическое, эмоциональное, какой угодно поток сознания, всплески гения – все это возможно лишь внутри жестко сколоченного сюжета. Любые, самые бескрайние воды должны иметь свои берега, а иначе – всемирный потоп. Иначе – провал.

Провалиться легко. А восстановить свое имя – практически невозможно. Будут говорить: «Какой Аникеев?» – «А-а-а... Это тот...» И дальше следует мимика и жест, означающий недоверие. Больше всего на свете Аникеев боялся эпидемии недоверия. Боялся провала. Тогда придется ходить с прямой спиной, гордо вскинутой головой: не просто Алеша Аникеев – два Алеши, пять Алеш, местный миллионер Алеша – чтобы другие не догадались, что он и сам в себя не верит, что его практически больше нет.

Провалиться для Аникеева – это значит умереть душой, той частью, где живет интуиция. И тогда уже гончая – это не гончая, а просто биологическая особь на четырех лапах, с хвостом и зачем-то длинными ушами.

Аникеев боялся провалиться каждый раз, и каждый раз ему казалось, что это уже происходит, и каждый раз он недоумевал, когда картина все-таки удавалась. Примерно похожее недоумение он испытывал, глядя на Славку. Он не понимал, что этот самостоятельный пятилетний человек с руками, ногами и головой отпочковался от него, является его частью, так же ходит и так же плачет.

– Зина! – окликнул Аникеев.

Ассистентка по актерам Зина поднялась с лавки и подошла к Аникееву. Она была похожа на французскую певицу Мирей Матье, но похуже – без успеха и без нарядов.

– Давай выйдем, – попросил Аникеев.

Вышли из больницы.

Аникеев прищурился от обилия света и предметов. Избы, куры, мужики в черных кепках и темных пиджаках – жилистые и нетрезвые. Бабы во фланелевых халатах, как в плащах. Это была их верхняя одежда. Небо и земля, голубое и зеленое навязчиво лезло в глаза.

– Что? – спросила Зина.

– Я тебе сейчас сюжет расскажу, в двух словах. А ты послушай и скажи: где скучно?

– Какой сюжет? – не поняла Зина.

– Наш сценарий.

– Так я ж его знаю. Я ж его читала сорок раз.

– Еще бы ты его не читала... Ты меня не понимаешь. Я расскажу тебе очень коротко. Конспект. Мне надо проверить на слух некоторые вещи.

– Сейчас? – не поверила Зина.

– Сейчас.

Зина посмотрела Аникееву в глаза и увидела, что он уже работает и остановить его невозможно. Это все равно что ставить спичечный коробок на ходу пассажирского поезда.

– Жестокий мир, жестокие сердца... – проговорила Зина, как бы извиняясь перед собой. – Ну давайте.

– Значит, так. Я буду рассказывать, а ты, если что-то непонятно, спрашивай: «Почему?» Договорились?

– Договорились.

Мастер из ВГИКа все время учил спрашивать себя и героев: «Почему?» Должно быть точное обоснование – почему так, а не по-другому, потому что там, где нарушается «почему», – нарушается правда, а если нарушается правда – то это начало провала.

– Я слушаю, – приготовилась Зина.

– Герой, инженер тридцати пяти лет, летом в воскресенье возвращается с родительского дня. Был у ребенка в лагере. Вечером едет обратно.

– Почему? – спросила Зина.

– Что «почему»?

– Вы велели спрашивать: «Почему?»

– Я велел спрашивать там, где непонятно. А не вообще спрашивать.

– Я не поняла, – извинилась Зина и вцепилась в Аникеева внимательными зрачками.

– Смеркается. Пустынное шоссе. Откуда-то из мрака возникает движущийся предмет. Герой не успевает ни свернуть, ни притормозить. Сбивает человека и едет дальше.

– Почему?

– Растерялся. Испугался. Драматический шок.

– Понятно.

– Это понятно? – проверил Аникеев.

– Так может быть. Я бы тоже испугалась.

– Дальше... – Аникеев вдохновился Зининой поддержкой. – Возвращается домой. Ложится спать с женой и всю ночь боится, что за ним придут.

Зина кивнула.

– Утром он идет на работу и весь день боится, что за ним придут.

Зина торопливо сморгнула несколько раз. Глаза устали от внимания.

– После работы герой домой не вернулся. Пошел к Тамаре – сотруднице из отдела. Наврал с три короба про любовь и остался у нее.

– Почему?

– А куда он денется? Ему же надо где-то прятаться.

– А Тамара его любила?

– Она его очень любила.

– А он ее любил?

– Он ее совершенно не любил. Он любил свою жену.

– Почему?

– Что «почему»? Потому что одних любишь, а других нет. Это же избирательное чувство.

– Понятно... – Зина почему-то стала смотреть в землю.

Аникеев заподозрил, что у нее свои «почему» и в этом сюжете она выясняет что-то для себя лично.

– Интересно? – спросил Аникеев.

– Да. Конечно, – спокойно сказала Зина, и чувствовалось, что она проецирует историю на свою жизнь. Это хороший признак. – А дальше?

– Дальше – как в математике. Трусость порождает ложь. Ложь порождает другую ложь. Другая ложь – подлость. Нравственные ценности девальвируются. Герой бросает Тамару и бежит из Москвы, забивается куда-то в середину страны, в глухую деревеньку, забытую Богом и людьми. Нанимается работать бакенщиком. Сидит ночью в лодке посреди реки. А днем спит. В сущности, прячется, как зверь.

– С ума сойти... – посочувствовала Зина.

– Вот именно. А ночью – один. Только вода да небо со звездами отражаются в реке. И вот сидит он среди звезд, делать нечего – думай сколько хочешь. Осмысляй.

– Почему?

– Человеку свойственно думать и осмыслять свою жизнь. А думать больно. Он стал брать в лодку самогон, чтобы глушить себя. Чтобы не думать и не осмыслять.

– Понятно, – согласилась Зина.

– Понятно? – переспросил Аникеев.

– Ну конечно.

– И вот однажды он возвращается домой на рассвете. Под самогоном. Выходит на шоссе. Плетется, как движущийся предмет. Его сбивает какая-то машина, «Жигули» красного цвета. И уходит.

– Коррида, – задумчиво проговорила Зина.

Аникеев нахмурился. Не понял.

– Красный цвет в автомагазине называется «коррида».

– При чем тут «коррида»? Тебе было интересно?

– Очень интересно, – удрученно сказала Зина. Когда ей что-то нравилось, она не ликовала, а уставала. Аникеев знал эту ее черту.

– А понятно про что?

– Конечно, понятно. Человек и совесть.

Аникеев уперся глазами в пространство и вдруг сказал:

– А что, если фильм назвать «Коррида»?

– Коррида – это бой быков.

– Ну и что? Здесь тоже бой быков: поступки и возмездие.

Из больницы выскочил директор и энергично махнул рукой.

Зина и Аникеев устремились обратно.

Посреди предбанника стоял хирург.

– Перелом основания черепа, – сказал хирург.

Аникеев смотрел на него не спуская глаз, и хирург не мог повернуться и уйти.

– Бывает, что живут, – неопределенно сказал он. – У моего отца во время войны был перелом основания черепа. Он упал с самолета.

– С неба? – спросил помреж.

– Ну а откуда же? – удивился хирург. – Конечно, с неба.

– А сейчас? – спросила Зина.

– Директором института работает.

«Директор института, – почему-то подумал Аникеев. – А сына не мог в Москве устроить...»

Аникеев не умел сразу выключиться из работы и какое-то время, глядя на хирурга, думал о том, что сюжет рассказан и никаких провисаний не было. Кроме одного места. Он помнил все время, но забыл. Надо обязательно вспомнить... А! Вот! Вспомнил...

Аникеев повернулся к Зине:

– А как ты думаешь, кого он сбил в первый раз?

– Кто? – шепотом спросила Зина.

– Герой. Когда он ехал из пионерского лагеря. Кого он сбил? Пьяного? Или десятиклассницу? Или старуху?

– Я не могу сейчас думать об этом. И пожалуйста, не спрашивайте больше ни у кого.

– Извини... Но мне кажется, он должен сбить кого-то нейтрального.

– Козу.

– Козу? – Аникеев помолчал. – Ну, это глупости. Зритель просто обидится.

– А сколько он будет лежать? – тихо спросила костюмерша Оля.

– Пока что я не знаю, будет ли он жить, – ответил хирург.

Стало тихо, будто камнем придавило. На Олином лице всплыла растерянная улыбка, которая читалась как гримаса.

Аникеев почувствовал, почти физически, как весь белый свет сошелся клином на лице хирурга, на этой маленькой больнице. Было невероятно осознать, что за стенами есть еще какая-то другая жизнь. Есть леса и квадраты полей, дома, звери, люди, голубое и зеленое, и палевые ромашки, которые так долго не вянут, если их поставить в банку.

Хирург ушел.

Все остались стоять, погруженные в оцепенение. Каждый мысленно вернулся в ту проклятую роковую секунду, которая расколола Сережину жизнь на две части: «до» и «после». И каждый чувствовал себя виноватым.

Оператор стоял, сцепив за спиной руки. У него было такое лицо, будто несчастье случилось с его собственным сыном и будто его сын, а не Сережа лежит сейчас с переломом основания черепа.

Актриса Тамара, играющая Тамару, подошла к оператору (Аникеев всегда называл героев картины именами актеров, чтобы актерам было легче отождествлять себя с героями). Тамара и оператор поссорились неделю назад и с тех пор не разговаривали. Каждый выдерживал характер. Но сейчас Тамара решила больше не проявлять характер, вернее, проявить другой характер – женственный и благородный, и в этом новом качестве подошла к оператору и постучала пальцем о его палец. Оператор обернулся, увидел Тамару и тотчас отвернулся обратно с несколько обиженным лицом, дескать, я переживаю, а ты мне мешаешь. Потом вспомнил, что все-таки они с Тамарой в ссоре и Тамара преодолела себя, охраняя его мужское самолюбие, и он должен это оценить. Оператор снова повернулся к Тамаре, посмотрел на нее проникновенным, но строгим взглядом, как бы говоря: «Я все понял. Но это потом. Сейчас я переживаю. Всему свое время...»

* * *

Славка Аникеев прогрохотал по булыжной дороге на двухколесном велосипеде. Он несся наперегонки с соседским Виталиком и был настолько занят своим делом, что не заметил отца.

Аникеев смотрел, как Славка перегнулся через руль, будто хотел обогнать сам себя. Подумал: «Тщеславный. В меня». И ему стало жаль сына. Тяжело всю жизнь выжимать педали, прорываться на крупный план. Но и в массовке тоже тяжело. Только по-другому. Там устаешь от впечатлений, тут устаешь без впечатлений. А в общем, количество плюсов и минусов одинаково в любой жизни.

Аникеев подошел к своему дому.

Съемочная группа разместилась в Доме колхозника, а Аникеев с семьей снимал комнату в деревянной избе у одинокой старухи бабы Пани. Лильке казалось вначале, что баба Паня жадная, пока она не сообразила, что баба Паня бедная и ее внимание к деньгам исходит из ее доходов.

Перед домом росло дерево черноплодной рябины. Лилька варила из нее кисель, и рты у всех были синие.

Аникеев вошел за калитку. Первой его встречала собака Жулька. Она выбегала и не лаяла, поскольку была сдержанной собакой. Но мотала хвостом с таким энтузиазмом, что Аникеев всякий раз боялся: хвост в конце концов оторвется от основания и улетит на крышу. Так было всегда. Так было и сегодня.

Потом в доме его встречала Лилька. Глаза ее радостно светились, как у Жульки. И если бы у людей были хвосты, то Лилька махала бы хвостом с таким же невероятным восторгом.

– Здорово, гуталин! – Лилька обняла Аникеева и поцеловала его лицо – мелко, поверхностно, будто обнюхала. На ней было странноватое платье-балахон, итальянское, из магазина «Фьеруччи». Он называл ее «чучело-фьеручело».

– Почему «гуталин»? – устало удивился Аникеев.

– Потому что «гуталинчик, на носу горячий блинчик, очень кислая капуста, очень сладкий пирожок».

Лилька относилась к Аникееву, как к Славке, и время от времени разговаривала с ним на детском тарабарском языке, отчего в доме становилось тепло и счастливо.

Лилька снова обняла Аникеева. Ему вдруг захотелось на ней повиснуть и больше не двигаться. Не производить никаких движений – ни ногами, ни мозгами.

– Не зови меня «гуталин», – попросил Аникеев.

– Почему?

– В детстве у нас на углу сидел чистильщик. Айсор. Мы дразнили его «гуталин».

Лилька улыбнулась, и ее лицо сделалось похожим на зайца в мультфильме, та же радостная готовность к радости, раскосые глаза и расщелина между передними зубами.

– Сережа себе шею сломал, – сказал Аникеев, садясь за стол.

На столе уже стояла тарелка с борщом. Пахло грибами. У Лильки была манера: во все, что она готовила, класть сушеные белые грибы, кроме киселя, конечно. Есть не хотелось, но общая муторность подсказывала, что поесть надо.

– Перелом основания черепа. Бывает, что живут, – повторил он слова хирурга.

Лилька медленно осела на диван. Глаза ее стали увеличиваться, и казалось, сейчас выскочат из орбит, упадут на колени.

– Как? – выдохнула Лилька.

– Так. Под машину попал на съемке. Пьяный был. Как будто нарочно себя под машину подставил.

– А Светлана?

– Что Светлана? Вызвали телеграммой. Перелом-то не у Светланы.

Лилька смотрела не мигая. Бледная до зелени, с синими губами, она походила на покойника.

– Это какой-то тихий-претихий ужас... – сказал Аникеев. – Черт знает что... И погода установилась. То две недели шли дожди, все чуть-чуть не спились от безделья. А теперь устойчивое солнце – и вот, пожалуйста. Что делать – просто не представляю! Менять актера – значит все переснимать. А три четверти сметы израсходовано. Кто деньги даст? Никто не даст. Горчица есть? Хорошо, если еще в тюрьму не посадят...

Суп в тарелке обмелел. На дне лежал кусок мяса величиной с кулак.

Лилька поднялась как сомнамбула, принесла горчицу, в которую она тоже добавляла сушеные грибы, измельченные в порошок.

– Завтра вызову сценариста. Пусть приедет. Пока суд да дело, надо будет сценарий исправить. Правда, у него сейчас обмен квартиры. Ну ничего, перебьется. Может быть, действительно козу, черт его знает... А с другой стороны – он прячется, страдает, гибнет – из-за козы. Глупость какая-то... Как ты думаешь?

– Что? – не сразу поняла Лилька.

– Кого он сбивает: человека или козу?

– Кто?

– Герой. Ты что, глухая? Когда он едет из пионерского лагеря, с родительского дня, он сбивает движущийся предмет. Помнишь? Она могла быть коза, скажем, по кличке Ромео.

– Коза женского рода. Джульетта. – Лилькины губы двигались медленно, будто замерзли.

– Но ведь хозяйка Шекспира не читает... Ты помнишь, если он сбивает пьяного, то получается, что он сбивает как бы себя будущего. Получается кольцо. Сюжет замкнулся. Это и хорошо и плохо. Хорошо, потому что действие идет по спирали. А плохо, потому что в каждой кольцевке есть какая-то формальность... Черт его знает... Надо подумать. А сколько весит коза? Шестьдесят килограммов?

– Не знаю.

– Нет. Шестьдесят – это ты. Это как свинья. Коза меньше. Килограммов тридцать. Надо у бабы Пани спросить. Баба Пани! – громко позвал Аникеев.

Старуха не отозвалась. Аникеев встал и пошел во двор. Он подумал, что в конце сюжета можно придумать заявление в милицию. Одно только заявление от какой-то бабы Пани, которая требует, чтобы ей возместили стоимость убитой козы из расчета два рубля за килограмм. На базаре стоит четыре, но она это в расчет не берет.

Бабы Пани во дворе не оказалось. Аникеев вернулся в дом. Когда он вернулся – увидел, что Лилька стоит в джинсах и куртке, а балахон-«фьеручелу» засовывает в джинсовый рюкзак. Туда же она сунула махровый халат и тапки.

– Ты куда? – удивился Аникеев. – В баню?

– Я от тебя ухожу.

– Куда ты уходишь?

– Насовсем. Вообще.

Аникеев опустился на диван. Он вдруг почувствовал, что устал. Как говорил Сережа: «Я устал конечно». Конечно – в смысле окончательно. До конца. Он ощущал свой тяжелый затылок и понимал, что не выдержит сегодня еще одной нервной перегрузки. Надо взять себя в руки и нейтрализовать взбесившуюся Лильку любыми средствами.

Аникеев смотрел некоторое время, как она мечется по комнате, давясь отчаянием. Спросил спокойно:

– Что произошло?

– Ты не понимаешь?

– Нет. Я ничего не понимаю.

Лилька вытаращила на него глаза, набитые злостью и слезами:

– С Сережей несчастье. Это Сережа... Твой товарищ... Твой помощник... Твой коллега... А ты про козу Ромео! Мне с тобой страшно! Я тебя боюсь!

– Так. Теперь понятно, – спокойно констатировал Аникеев. – Помнишь, ты была беременна Славкой? Ты все время хотела спать. Помнишь?

– При чем тут...

– А при том, – перебил Аникеев. – Твой организм интуитивно оберегал плод и требовал отдыха нервной системе. Поэтому ты хотела спать. Понимаешь? А фильм – это мое духовное дитя. И у меня тоже свой защитный механизм. Невозможно учитывать все и вся. Надо учитывать только фильм.

– А когда Славка родился, ты не приехал. За мной пришли совершенно посторонние люди и принесли какое-то старое одеяло. Мне было стыдно людям в глаза смотреть.

Лилька заплакала.

Она впервые заговорила об этом. Аникеев понял, что Лильке главное сейчас не выслушать и понять, а сказать самой. Помириться будет трудно, но помириться надо, иначе ссора застрянет в мозгу и будет отвлекать от работы.

– Я был тогда на Северном полюсе. Я снимал. Ты же знаешь.

Лилька затрясла головой, волосы встали дыбом.

– Самарин должен был играть дистрофика, а он все время жрал. Если бы я уехал, он бы тут же и нажрался. Дистрофик с круглой рожей.

– Я чуть не умерла...

– Не преувеличивай.

– Если бы сегодня не Сережа, а я сломала себе шею, ты не отменил бы съемку! Не отменил бы? Ну, скажи!

– Не отменил бы.

– Ну вот!

Лилька закусила губу и затряслась так, что запрыгали плечи.

Аникеев устал и не мог сосредоточиться, поэтому разговор шел стихийно и не туда.

– Лиля, помнишь, когда мы ждали Славку, ты все время боялась, что у нас родится уродец с врожденным дефектом? С заячьей губой и волчьей пастью? Помнишь? Вот так и я все время боюсь, что мой фильм будет – кикимора. Знаешь, что такое кикимора? Это мертворожденное дитя.

Лилька на секунду перестала рыдать, вытаращила глаза. Она думала, что кикимора – это худая злая старуха.

– Понимаешь, вроде бы все есть: руки, ноги, голова – все как положено. Только сердце не бьется.

– Что ты сравниваешь...

– Лиля, умоляю тебя. Пойми, – взмолился Аникеев. – Ты должна помогать мне, а не терзать меня. Ты должна думать так же, как и я. А иначе...

– Я не могу думать так же, как и ты. И не хочу. И не умею. И презираю!

– Я прошу тебя, давай перенесем этот диспут на завтра, – сухо сказал Аникеев, раздражаясь. – Я сегодня не могу. Я устал, конечно!

– Ты! Ты! Опять ты! А Сережа?

– Что Сережа? Что Сережа? Думаешь, почему он отказался от каскадера? Из-за водки! Из-за денег! Чтобы получить деньги и обменять их на водку!

– Даже если и так! Но сейчас ему плохо. Его расплата больше чем его вина! Может быть, он умирает в эту секунду! Должно же быть хоть какое-то уважение к жизни! Хоть какая-то доброта!

– Мы с тобой по-разному понимаем это слово.

– Доброта – это отказ от себя! А ты – эгоист!

– Да. Я эгоист. Но мой эгоизм – это и есть моя доброта.

– Для тебя главное – престиж! Престиж – это твоя власть! Твое господство над другими. И ты боишься провалиться, потому что боишься потерять власть. И ради этого ты способен стрелять в зайца!

– В какого зайца?

– Во французском кино! Там зайца привязали за ногу, а потом в него выстрелили и стали снимать крупным планом. И он бился и умирал. Как настоящий!

– При чем тут я!

– При том! Есть правда режиссера. А есть правда зайца!

– А есть правда зрителя, – сухо, бесцветно проговорил Аникеев, чувствуя, что заводится и сейчас что-то будет. Он уже мало контролировал себя.

– Правильно! – обрадовалась Лилька. – Все для тети Мани в третьем ряду. И я. И Славка. И Сережа. Все для нее!

– И я тоже. Ты меня забыла. Я живу для тети Мани в третьем ряду.

– Тогда скажи, зачем я плачу так дорого? Мне могло бы это все стоить как другим – две копейки в месяц!

– Какие две копейки? – Аникеев нахмурился, не понимая.

– Ты снимаешь фильм в два года, в двадцать четыре месяца. Билет стоит пятьдесят копеек. Пятьдесят копеек разделить на двадцать четыре – вот тебе и будет две копейки.

– Действительно, две копейки...

– И за две копейки я получаю с экрана все лучшее, что есть в тебе. А я плачу всем своим существом! И жру все это дерьмо! Меня тошнит! Мне иногда хочется вытошнить собственное сердце!

– Лиля, опомнись! – предупредил Аникеев. – Ты подавишься своими словами. Ты будешь жалеть...

– Что Лиля? Что Лиля? У нас никогда никого не бывает. Ты это заметил? К нам никто не хочет ходить, потому что люди тебе неинтересны. Ты прячешься в свои вонючие сценарии, как улитка в раковину. Только хвост торчит. Потому что ты боишься жизни!

– А что в ней хорошего, в твоей жизни?

– Доброта! Возлюби ближнего, как самого себя. Тебе не понять!

– Ты возлюбила бабу Паню и даришь ей резиновые сапоги и начатые французские духи и думаешь, что это – доброта. Ты тешишь себя. Тебе нравится, чтобы тебе говорили «спасибо» и смотрели на тебя с обожанием. А что ты можешь переменить? Твоя доброта – как сухие грибы, которые ты везде суешь, чтобы отбить естественный дух. Чтобы мясо – как грибы. И хлеб – как грибы. И горчица – как грибы. Сеятель.

– Зато я не стреляю в зайца!

– И я не стреляю в зайца.

– А я уверена, даю голову на отсечение, что ты снял гибель Сережи и уже прикидываешь, как это вставить в свой фильм. Ну что? Не так?

Аникеев молчал. Он не мог сказать «так» и не мог сказать «не так».

– Ну, что же ты молчишь?

Аникеев почувствовал, как голове вдруг стало жарко, глаза опалило горячим туманом. Он успел сообразить, что сейчас произведет три движения: поднимет стул и даст по стеклу, чтобы стекла наружу, потом по Лильке, а там – что будет.

– Что же ты молчишь?

Аникеев широко шагнул к Лильке, схватил ее руками за плечи, крупно потрянул. Ее зубы клацнули. Она смотрела прямо в глаза Аникееву, и в ее лице проступили беспомощность и упрямство. Славкино выражение, когда он готов был умереть, но не уступить. Аникеев вдруг неожиданно для себя прижал к себе ее голову, стал целовать волосы. От них тонко и горьковато пахло духами, которые Аникеев принимал за ее собственный запах. Он поднял ладошками ее лицо, стал целовать глаза. Из-под век бежали теплые слезы. Он целовал ее слезы и синие губы – все, что в ней было ее, и все, что Славкино. Он прижимал, прятал ее в себе и прятался сам. Искал защиты. Ему так нужно было, чтобы Лилька защитила его ото всех и от себя самого. Разве он сам не раб своей жизни? Своего таланта? Своего эгоизма? А защита его в Лилькиной любви. Это его защита и его топливо.

– Лилька, ты любишь меня? – прошептал он беспомощно, как нищий. Как собака, подставляющая в драке горло.

Она открыла глаза и смотрела не мигая, втягивая его глаза в свои. Затихла, как заяц.

Шесть лет назад Аникеев сидел в просмотровом зале, смотрел материал. И в это время отворилась дверь, и в зал вошла незнакомая женщина. Это было против правил, и Аникеев

хотел сделать замечание. Но почему-то промолчал. Через минуту он почувствовал, что готов прекратить просмотр, встать и пойти за ней босиком по следу. На любое расстояние. Потом свет зажегся. Аникеев увидел Лильку и отчетливо понял: его десятилетний поиск женщины завершен. Она будет его женой.

Он скучал по Лильке постоянно, и сейчас, обнимая ее и вдыхая, он скучал по ней.

Аникеев подхватил Лильку под коленки и под лопатки, поднял, крикнул.

– Не надо... – испугалась Лилька. – Я тяжелая. Как свинья. Пятьдесят килограммов.

Она засмеялась и стала еще тяжелее. В этот момент в дверь забарабанил Славка, и по тому, как он стучал, было ясно – Славка обогнал соперника.

* * *

За окном стало светать, но петухи еще не кричали. Славка сопел на диване, как насос. Он спал очень серьезно. Аникеев тоже спал на Лилькиной руке и время от времени скрежетал зубами. Вчерашний день выходил из него. Лилька осторожно касалась губами его лба. Он переставал скрежетать. Успокаивался.

Рука затекла, но Лилька боялась ее вытащить, чтобы не разбудить мужа. Она смотрела в потолок и ждала утра. Чтобы скоротать время, думала о своей жизни.

С пятого примерно класса она мечтала вырасти и выйти замуж за талантливого человека – молодого и красивого, любить его и быть любимой, иметь от него сына, носить заграничные платья и душиться французскими духами. Выходить с мужем в общество, и чтобы все на них обращали внимание, завидовали и уважали.

Ее мечта сбылась на сто процентов. Она вышла замуж за талантливого режиссера, довольно молодого и достаточно красивого. Любит его и любима им. Имеет сына Славку. Платья от Кристиана Диора и духи от мадам Роша. У Аникеева безупречная репутация – творческая и человеческая. Им действительно завидуют и действительно уважают. Сбылось все, до последнего штриха. Тогда почему же она плачет в ночи и слезы бегут к ушам? Может быть, потому, что больше ничего не будет и все известно наперед: сейчас – эта картина, потом – другая, потом – третья. Он – при картинах. А она – при нем. Жизнь «при». И смерть будет «при». А как хотелось чего-то еще, где ничего не ясно и нет ничего вымышленного и выдуманного.

Аникеев заскрежетал зубами. Славка перевернулся и что-то торопливо проговорил во сне. Два ее любимых сына. Ее счастье.

Лильку охватило полное одиночество при полном счастье. Она заплакала сильнее, но боялась всхлипывать, чтобы не разбудить мужа. Не прервать его сон, иначе у него будет тяжелая голова. А утро – это начало дня, в котором он должен многое успеть.

* * *

На стене в белых рамках под стеклом развешаны гербарии. Высохшие лепестки и стебли были изысканные, как японские гравюры. Это была Сережина затея.

Светлана Кириллова лежала у себя в московской квартире на широкой арабской постели и смотрела на стену. Три часа назад пришла телеграмма из почтового отделения «Ветошки» за подписью директора группы. Светлана смотрела на высохший лист, исписанный прожилками, и четко понимала: если бы Сережа сегодня не попал под машину, то завтра он бы ее бросил. Так или иначе его не было бы в ее жизни. А раз Сережи нет в ее жизни, то какая разница: будет ли он вообще? Может быть, даже лучше так, а не иначе: не будет этих злорадно-сочувственных соболезнований. Не так обидно. Не так оскорбительно. Если он останется жить, то какое-то время она ему будет нужна. А если нет...

У матери была любимая поговорка: «Никогда не держи все яйца в одной корзине...» Светлана мысленно проверила свои корзины – с кем бы она могла устроить свою жизнь? У нее было два возможных жениха. Один на десять лет моложе, другой на десять лет старше. Тот, что моложе, все время говорил слово «вообще». Оно звучало у него «воще». Каждые три секунды «воще», и каждые три секунды его хотелось ударить доской по голове. Он нравился ей ночью и безумно раздражал днем. А тот, что старше, не нравился воще. Зубы у него изъедены болезнью эмали, которая называется «клиновидный дефект». Они имеют рыжий цвет и свисают с десен, как сталактиты и сталагмиты. А вокруг глаз – белые старческие круги, хотя не старый. Нет и пятидесяти. Характер как у раба. Можно держать только под плеткой, а от ласки – наглеет. Приспособленный, сам обед готовит. Жить с ним было бы надежно, но безрадостно. А с «воще» – довольно симпатично, но ненадежно. Через год бросит. Это же очевидно.

В ванной все время капала вода. Неплотно закрыт кран. Светлана поняла, что не заснет из-за этой монотонной навязчивой капли. Встала. Пошла в ванную. Зажгла свет.

Над раковиной висело большое овальное зеркало, и Светлана увидела себя. Увидела, что плачет. Лицо было собрано комками и дрожало. Мягкие углы глаз – мокры от слез. Светлана посмотрела как бы со стороны на свое несчастное немолодое лицо и поняла: ее будущее – это одинокая больная старость, а ее настоящее – это холодная сиротская постель. И это единственная правда. «Не могу, – сказала она себе в зеркало. – Не могу, не могу, не могу...» Потом отпустила свои губы и щеки от страдания, разгладила лоб. Жестко сказала: «Могу!» И в зеркале выступило ее обычное лицо – умное и значительное, со следами явной красоты и опытом долгих раздражений.

* * *

Костюмерша Оля лежала тихо, как мышка, на железной койке в Доме колхозника. Вчера вечером в комнату подселили очень толстую бабку, которая храпела – это надо уметь.

Оля лежала и слушала, как бабка храпит, и не думала ни о чем. После аварии на съемках с ней что-то произошло: как будто из нее выдернули розетку и выключили все чувства. Она все понимала – что происходит, о чем ее спрашивают. Но не понимала – зачем люди задают вопросы и зачем на них надо отвечать. И почему ее увезли из больницы и она теперь лежит здесь, в Доме колхозника, а не осталась возле Сережи в Ветошках. Может быть, ему сейчас, в данный момент, что-то надо... А может быть, он хочет ей что-то сказать. А все ушли. И она ушла.

Она поднялась. Койка скрипнула. Бабка тут же перестала храпеть. Потом снова захрапела. Оля натянула джинсы и майку, на которой был вышит бисером зверек с большими ушами. Сережа подарил. Привез из Бангладеш.

Оля вышла на улицу. Было тихо. Пустынно. Даже собаки не лаяли. До больницы было километров тридцать. Оля подумала, что если хорошо идти, то до утра можно добраться. Сердце подошло к горлу. Лоб стал холодный. Захотелось есть. Оля постояла, подождала, пока сердце станет на место, и снова пошла. Она знала, ей рассказали, что тошнить будет четыре с половиной месяца, а потом тошнить перестанет, но зато начнет расти живот. А потом будет ребеночек, ей нагадали – мальчик. Да она и сама знала – будет маленький Сережа, с его глазами, квадратными ладошками, ушами, как пельмени. У нее будет свой собственный Сережа, она прижмет его к себе и никому не отдаст. Вот фига вам. Фигули на рогуле.

Поселок кончился. Дорога пошла полем. Тишина до самого горизонта. Все небо в ярких звездах. Это значило – погода установилась. Теперь дожди пойдут не скоро, а может быть, их не будет больше никогда.

Сто грамм для храбрости

Окно светилось золотисто-оранжевым светом, и в этом рассеянном золоте была видна девушка. Она сидела на краешке стула, прислонив к себе арфу, и серебряные звуки летели над вечерним двором.

Младший научный сотрудник Никитин сидел в доме напротив, в своей однокомнатной квартире, и, положив руки на подоконник, а голову на руки, смотрел в окно.

Почти все девушки, которых он знал – его знакомые и знакомые знакомых, – ходили в джинсах, подвернутых над сапогами по моде «диверсантка», курили сигареты, умели водить машину, умели ругаться как слесарь-водопроводчик, и это составляло свой шарм и было даже модно. Было модно быть слегка грубой и независимой, девушкой-подростком, l'enfant terrible, что в переводе означает «ужасный ребенок». Эта, в доме напротив, была не подростком и не диверсанткой, она была только девушка. Девушка – ангел, и аксессуары у нее были ангельские: арфа.

Никитин смотрел и смотрел. Он сидел в полной темноте, чтобы быть невидимым другой стороной.

Вот она встала... Потянулась, как нормальный человек. Подошла к окну и посмотрела на Никитина. Он мигом соскользнул с подоконника, присел на корточки. Замер. Потом взглянул. Занавески в золотом окне были задернуты.

Никитин выпрямился, хрустнув коленками. Включил свет, и этот свет явил однокомнатную квартиру холостяка-радиолобителя. Вокруг лежали какие-то металлические части, тянулись проводки и провода всех возможных сечений, и было впечатление, что Никитин стоит среди обломков рухнувшего самолета. И лицо у него было как у летчика, потерпевшего аварию на необитаемом острове.

Никитин постоял какое-то время, потом шагнул к телефону и одним духом набрал семь цифр. Затаил дыхание.

– Я слушаю вас, – прозвучал голос, серебряный, как арфа.

Никитин молчал.

– Я ничего не слышу, – доверчиво сказал голос.

– А я молчу, – сказал Никитин.

– Почему?

– Видите ли... Вы меня совсем не знаете... И даже не представляете... Я ваш сосед... Из дома напротив...

– Ну почему не представляю? У вас полосатые занавески. В семь пятнадцать утра вы делаете гимнастику с гантелями. А в семь тридцать пять пьете молоко прямо из пакета.

– Значит, вам меня тоже видно?

– Тоже.

– И вечером?

– И вечером.

Никитин вытер лоб рукавом.

– А как вас зовут, сосед напротив?

– Женя... То есть Евгений Палыч... Ну, в общем, Женя.

– А меня Наташа.

Помолчали.

– А что вы делаете сегодня вечером? – осмелел Женя. – Может, пойдем походим?

– Заходите. Мы и решим. Может, действительно пойдем и походим.

– А когда?

– Да хоть сейчас, – предложила Наташа.

- Подъезд пять, квартира двенадцать? – уточнил Никитин.
- А откуда вы знаете? – поразилась Наташа.
- Вычислил. Я же математик-программист. Я и адрес ваш вычислил, и телефон.
- А меня?
- Разве можно вычислить мечту? – полуспросил-полуответил Никитин.
- Жду, – тихо сказала Наташа и положила трубку.

Никитин стоял и слушал гудки, еще не понимая, но предчувствуя, что случилось счастье. Через двадцать минут Никитин вышел из своей квартиры. На нем была польская поло-сатая рубашка, югославский галстук, розовый в черную крапинку, и синий финский костюм. Пиджак он застегнул на все три пуговицы.

Сбегаю со своего пятого этажа, Никитин посмотрел мимоходом в оконное стекло, на свое отражение. Отражение его несколько задержало.

Никитин неуверенно потрогал галстук. Потом так же неуверенно спустился еще на один лестничный марш и подошел к двери на третьем этаже, которая была простегана малиновой кожей и украшена блестящими кнопками. Позвонил. Звонок затейливо звякнул.

Дверь отворил Гусаков.

На нем был стеганый халат, какие носили адвокаты в дореволюционной России.

Гусаков был член-корреспондент, член четырех королевских обществ, руководитель научного центра, в котором среди прочих трудился и Никитин в чине младшего научного сотрудника. У Гусакова была квартира номер 69, а у Никитина 96, и почтальон часто путал ящики.

Гусакову писали чаще раз в шестьсот. Он был нужен и в нашей стране и за рубежом, во всех четырех королевствах, поэтому Никитин довольно часто возникал перед стеганой дверью. К нему привыкли. Может быть, даже Изабелла, жена Гусакова, думала, что он – почтовый работник. Она поверхностно улыбалась Никитину. Он тоже вежливо улыбался и всякий раз пытался понять ее возраст: тридцать или шестьдесят.

- Здравствуйте, Валерий Феликсович! – поздоровался Никитин.
- Здравствуйте, Женя, – поздоровался Гусаков, глядя в пустые руки Никитина.
- Извините, пожалуйста... У меня несколько неожиданный вопрос. Разрешите?
- Валей, неожиданный...
- Валерий Феликсович, вот вы объездили весь мир. Скажите: этот галстук идет к этой рубашке?

- Как корове седло, – откровенно определил Гусаков. – Сюда нужен сплошной.
- Сплошной? – потерянно переспросил Никитин.
- Прошу, – пригласил Гусаков и первым пошел в глубь своей квартиры.

Никитин двинулся следом.

Все стены квартиры были увешаны ключами разнообразных размеров и назначений. Здесь были ключи от амбарного замка и ключи от города Антверпена.

- На свидание? – поинтересовался Гусаков, шагая мимо ключей.
- Да, – сознался Никитин.
- Влюбился? – с завистью спросил Гусаков.
- Вы знаете... она совсем другая, чем все.
- Это всегда вначале так кажется.

– Нет. – Никитин остановился и остановил Гусакова. – Все – это все. А она – это она.

Гусаков открыл шкаф. Гардероб у него был, скажем прямо, богаче, чем у Никитина, и выбор галстуков шире. Одних сплошных – штук четырнадцать.

- Надевайте! – Гусаков протянул ему галстук из своей коллекции.
- Неудобно, – сознался Никитин.
- Дарю!

Видимо, Гусакову понравилась роль Деда Мороза. Он повязал галстук широким роскошным узлом на тощей высокой шее Никитина. Потом снял с плечиков золотистый замшевый пиджак.

– А вот это будет в тон галстуку.

– Ой, что вы? Я не возьму! А вдруг запачкаю?

– А ты не пачкай.

Гусаков обрядил Никитина в пиджак и отступил на шаг, прищурившись. Перед ним стоял совершенно иной Никитин, чем тот, который пришел десять минут назад. От нового Никитина веяло другими городскими привычками, как будто он только что вернулся из самого красивого королевства и у него в портфеле лежит новенькая пара хрустальных башмачков, тридцать седьмой размер.

– Вам очень идет, – позавидовал Гусаков. – Мне он, пожалуй, маловат...

– Я вам сегодня же верну, – испугался Никитин. Он боялся, что ему подарят пиджак и сердце не справится, лопнет от благодарности.

– Можно и завтра, – успокоил Гусаков. Он играл роль Деда Мороза, а не сумасшедшего, и пиджак из антилопы он дарить не собирался. То, что это была антилопа, а не свинья, нигде не было написано, но все же благородное происхождение пиджака каким-то образом читалось и как бы перемещало обладателя в другой социальный слой.

В комнату заглянула Изабелла.

– Влюбился, – объяснил Гусаков происходящее. – На свидание идет.

– Да? – тихо и глубоко обрадовалась Изабелла, всматриваясь в Никитина, как бы ища в нем приметы избранности. – А почему такое лицо?

– Я боюсь, – сознался Никитин. – Мы с ней, откровенно говоря, почти не знакомы...

Гусаков открыл бар, налил полстакана виски. Протянул.

– Спасибо, – поблагодарил Никитин. – Только я не пью.

– А вам никто и не предлагает пить. Это маленький допинг. Как лекарство.

Никитин послушно выпил и закашлялся. Постоял в некоторой прострации, потом пошел – в той же самой прострации. Закрыв за собой дверь.

– Странный, – сказала Изабелла.

– Есть немножко, – подтвердил Гусаков. – Но способный. Любит науку, а не себя в науке.

– А почему бы тебе не назначить его на место Кошелева? – предложила Изабелла.

– А Кошелева куда?

– На пенсию. Или на повышение.

Гусаков посмотрел на жену, вернее, сквозь жену, обдумывая предложение.

– А не рано? – усомнился Гусаков.

– Человек все должен получить в этой жизни своевременно. Пока ему этого хочется. Вон на Кубе все министры молодые.

– Так то Куба, – раздумчиво проговорил Гусаков. – Там климат другой. Там бананы растут.

* * *

Никитин тем временем пересек двор. Решительно вошел в пятый подъезд. Поднялся пешком на третий этаж. Подошел к квартире двенадцать.

Постоял. Потом повернулся, так же решительно зашагал обратно.

На углу синими буквами было написано «Синяя птица» и под надписью нарисована птица, но какая именно – непонятно. Никитину было не до птицы. Он вошел в кафе и спросил официантку:

– У вас нет чего-нибудь немножко выпить? Грамм пятьдесят?

- У нас не распивочная, – высокомерно ответила официантка.
- Простите, а где ближайшая распивочная?
- В магазине.

Очередь в винный отдел была длинная, но текла довольно бодро, и Никитин довольно скоро предстал перед продавщицей Нюрой. На Нюре был синий берет, белый халат и под глазом – давний, уже выцветший синяк. Может быть, Нюра разодралась с недисциплинированным покупателем.

– Скажите, пожалуйста, а у вас такие маленькие бутылочки есть? – спросил Никитин и, раздвинув большой и указательный пальцы, показал размер бутылочки.

- Мерзавчики, – подсказали за спиной.
- Да, мерзавчики, – подтвердил Никитин.
- Нет! – ответила Нюра, как бы обижаясь на невыполнимое требование.
- А чуть побольше?
- Чекушка, – подсказали за спиной.
- Да. Чекушка.
- Нет!

– Не задерживайте! – потребовали в очереди. – Тут люди на работу торопятся!

Никитин послушно отошел от прилавка. Остановился в растерянности.

– Может, скооперируемся? – спросил, подходя, благообразный господин с бородкой, похожий на члена Государственной думы. А может, и бывший член. – Мне тоже не нужно целой бутылки. Возьмем и разольем, кому сколько надо.

Никитин повернулся к Нюре.

– В очередь! – потребовали за спиной.

– Но я же стоял! Ведь я стоял? – спросил Никитин у Нюры, восстанавливая справедливость.

– Как очередь решит, – распорядилась Нюра.

Она сама ничего единолично не решала и была как бы частью текущего коллектива, именуемого «очередь».

Никитин махнул рукой на справедливость и встал в хвост.

– Какое безобразие! – привычно возмутился господин с бородкой. – Вот мне надо немножко спирта для компресса. А в аптеке без рецепта не дают...

И тут появился Федя.

На его лице и одежде отчетливо читалась вся его прошлая и настоящая жизнь.

– Давай возьму! – предложил Федя, дергая за пятерку, выступающую из пальцев Никитина.

Не дожидаясь ответа и, видимо, не нуждаясь в нем, Федя взял деньги и пошел в начало очереди.

– Бутылочку, Нюра! – Он протянул пятерку через головы.

– В очередь! – потребовала очередь.

– Для больного беру, – объяснил Федя и взял бутылку, так же через головы. Видимо, у него с Нюрой была своя мафия.

Отнес Никитину бутылку и рубль сорок сдачи.

– Пошли! – скомандовал он. – Стакан у меня есть.

Трое вышли из магазина.

По улице шли транспорт и пешеходы. Текла своя уличная жизнь.

– Давай во двор, – предложил Федя и первым направился под арку.

Остановились возле песочницы под детским грибом. Два мальчика дошкольного возраста строили из песка тоннель.

– Здесь неудобно, – сказал Никитин.

Перешли за угол дома. За углом стояли высокие баки с пищевыми отходами.

Господин достал портмоне, стал копаться в мелочи.

– Вот. – Он протянул Феде три монеты. – Здесь шестьдесят копеек. Мне совсем чуть-чуть.

Федя вытащил из кармана стакан, обтер его изнутри полый пиджака, откупорил бутылку и отлил немножко в стакан. Посмотрел. Подумал и в результате размышлений аккуратно отлил половину из стакана обратно в бутылку.

– Держи, – сказал он, протягивая. – Тут ровно на шестьдесят.

Господин взял стакан и пошел.

– Э! Ты куда? – удивился Федя.

– Домой. Мне собаке надо компресс сделать. Ее кошка оцарапала, – объяснил господин.

– А стакан? Что он тебе, дары природы? Он, между прочим, денег стоит.

– Сколько?

– Полтинник.

Господин снова покопался в своем портмоне. Достал пятьдесят копеек. Отдал Феде и ушел.

– От жлобьяра! – возмутился Федя. – Собака, значит, из стакана, а люди – из бутылки.

Он отметил ногтем свою долю. Выпил. Проверил. Сделал еще два глотка, после чего протянул Никитину:

– На!

– Ой! Как-то я не могу, – смутился Никитин.

– А ты вдохни воздуху, – проинструктировал Федя.

Никитин послушно вдохнул.

– Задержи!

Никитин задержал.

– Пей!

Никитин сделал несколько глотков.

– Выдыхай!

Никитин закашлялся.

– Нюхай!

Федя достал из кармана пыльный кусок огурца, сунул под нос Никитину, подержал и положил обратно в карман.

– Ну как? Разлилось? – заботливо спросил Федя. Никитин прислушался к себе.

– Разлилось, – неуверенно сказал он.

– Может, еще сбегать? – предложил Федя.

– Спасибо. Не стоит. Вообще-то я не пью... – сознался Никитин.

– Я тоже.

– Нет, правда. Это я только сегодня. Для храбрости.

– В суд, что ли, вызывают?

– Да нет... Представляете... ее окно прямо против моего окна. И вот ночь. Звезды. И она играет из «Щелкунчика» танец феи Драже.

Никитин стал перебирать в воздухе пальцами, показывая, как она играет.

– Вот и у меня драже, – сказал Федя. – Давай еще бутылку возьмем.

– Сейчас подумаю.

– Подумай, – согласился Федя.

– Нет! Не надо! Все! – Никитин решительно рассек рукой воздух. – Не боюсь! Вот сейчас встану и пойду!

– Куда? – не понял Федя.

– К ней.

- В гости? – уточнил Федя.
- В гости!
- А что ж с пустыми руками! Надо бутылочку купить!
- Идея...
- Бутылочку и банку шпрот. – Федя усовершенствовал идею.
- Духи! – растолковал Никитин. – Как же я сам не догадался...

* * *

Перед прилавком парфюмерного магазина стояла одна только женщина, но Федя, не умеющий ждать в очередях, отодвинул ее плечом.

- Простите, – извинился он. – На самолет опаздываем.

Женщина посмотрела на Федю в вигановой старушечьей кофте, потом на Никитина в изысканном замшевом пиджаке, и на ее лице проступили следы усилий: видимо, она пыталась объединить этих двоих в одну компанию, но у нее не объединялось. Женщина пожала плечом и отошла от прилавка.

– Скажите, пожалуйста, какие у вас самые лучшие духи? – спросил Никитин у продавщицы.

- «Тройной» бери, «Тройной», – подсказал Федя.
- «Клема», пятьдесят рублей, – ответила продавщица.
- Сколько? – не поверил Федя.
- Пятьдесят, – невозмутимо повторила продавщица.
- Что? Да за такие деньги я сам в коробочку залезу!

– Вряд ли купят, – усомнилась продавщица, оглядывая Федю с ног до головы, со спортивных кед до потертой макушки.

- Вам платить или в кассу? – спросил Никитин.
- В кассу.

Никитин подошел к кассе. Федя устремился следом.

– Не балуй ее, Женя. Не балуй. Она тебе потом на голову сядет. Бери «Тройной». Все из одной бочки. Поверь...

- Она арфистка, – произнес Никитин и поднял палец.
- Артистка... – с пренебрежением повторил Федя. – Знаю я их. Им черную икру и брильянты подавай. А где ты ей брильянты возьмешь? Ты кем работаешь?
- Математик.
- И я математик. Вот и считай...

Никитин тем временем расплатился, отдал чек и получил «Клема» в изумрудной коробочке.

- Федя понял, что дело сделано и уже ничего нельзя переменить.
- Красиво, – похвалил он. – Обмыть надо.

* * *

Ресторан «Гавана» был оформлен изнутри всевозможными циновками, деревяшками, с учетом латиноамериканского фольклора. Сплошные экзотические занавески полностью скрывали широкий Ленинский проспект за окном, и у Никитина было впечатление, что он не в Москве, а в Гаване.

Певица пела по-испански «Бессаме мучо», что значит «целуй меня больше».

– Сколько прекрасного заложено в людях, – философствовал Никитин. – Взять хотя бы нас. Ведь мы же совсем не знакомы. А как вы ко мне отнеслись... С каким участием...

Федя скромно подвинул Никитину тарелку с салатом.

– Или вот, – продолжал Никитин, поставив локоть в тарелку. – Валерий Феликсович – член-корреспондент. Член четырех королевских обществ! Я его спрашиваю: подходит галстук? А он мне пиджак дал. А почему? Потому что он по-настоящему интеллигентен. Ведь что такое интеллигентность? Это не количество знаний. Сейчас все всё знают. Настоящая интеллигентность – это доброжелательность! Каждый человек прекрасен до тех пор, пока он не докажет тебе обратное. Вот мы с вами, в сущности, не знакомы. А вы проявили ко мне доброжелательность: время теряете, слушаете меня. Потому что вы – по-настоящему интеллигентный человек.

– Я такой, – согласился Федя. – А этот жлоб... Собака... Собака, значит, – из стакана, а люди – прямо из бутылки. Не люблю я таких людей! Не уважаю!

– Я тоже, – легко согласился Никитин и выпил половину фужера.

– И начальник твой жлоб! – разоблачил Федя. – Всучил пиджак, а теперь всю жизнь попрекать будет.

– Ну что вы, он не будет...

– Глазами. – Федя слегка вытаращил свои глаза. – Так и будет все время показывать: я тебе пиджак дал, я тебе пиджак дал... Вот я у Петровича трешку взял, говорю: «С получки отдам». А он говорит: «Можешь не отдавать». Ну я и не отдал. Так он мне теперь глазами все время показывает, что я ему должен «спасибо» говорить. Тьфу! Знал бы – отдал бы! Вот так и начальник твой.

– Он не такой, – заступился Никитин.

– «Не та-акой...» – передразнил Федя. – Что ж он тебе пиджак-то с пятном дал...

– Где пятно? – Никитин стал себя оглядывать.

– А вот...

На локте действительно было совсем свежее, влажное пятно.

– А раньше не было, – удивился Никитин. – Что же делать?

– Можно вывести, – успокоил Федя. – Спиртным надо.

Федя взял салфетку, окунул ее в фужер с портвейном и потер салфеткой рукав. Пятно из бледно-серого стало темно-коричневым.

– Вот! Высохнет, ни фиги не будет заметно, – пообещал Федя.

– И здесь немножко. – Никитин показал пятнышко возле кармана.

Федя замыл и там.

– Я тебе друг? – спросил Федя.

– Друг! – Никитин убежденно кивнул головой.

– Так вот. Слушай меня. Отдай-ка ты ему этот пиджак. Пусть он им подавится.

– Правильно, – согласился Никитин. – Надо сейчас же вернуть, а то вдруг запачкаю.

– Официант! – Федя щелкнул пальцами в воздухе, как кубинец. – Бутылку крепленого и банку килек! С собой!

* * *

Друзья подошли к подъезду.

Никитин еще раз при электрическом свете осмотрел пиджак. На нем горели размытые, почти черные пятна, похожие очертаниями на контуры Каспийского моря.

– Все равно видно, – огорчился Никитин.

– Не высохло еще, – успокоил Федя. – Высохнет, ни фиги не будет заметно.

– Знаете что, Федя, а может быть, вы отнесете? – попросил Никитин. – А то мне как-то... Вы скажите, что я заболел. А это обязательно высохнет. И поблагодарите. А? – Лицо Никитина приняло мучительное выражение.

– Давай, – легко согласился Федя. – А куда нести?

– Третий этаж, возле лифта. Справа.

Федя взял пиджак и пошел в подъезд.

Лифт не работал, и Федя отправился пешком. Он шел и считал лестничные пролеты за этажи. Третьим этажом у него оказался второй.

Федя позвонил в дверь возле лифта. Открыла бабушка в платочке, маленькая и уютная, похожая на лесного человечка.

– Академик дома? – спросил Федя.

– Какой академик? – не поняла бабушка.

– Ну, мужик твой.

– Нету.

– На. Держи. – Федя протянул пиджак. – Женька прислал.

– Чаво это?

– «Чаво», – передразнил Федя. – Слепая, что ли? Пинжак. Высохнет, ни фиги не будет заметно. Премного благодарны. – Федя сунул ей в руки пиджак. – А Женька гриппом заболел. На больничном сидит. Так что спасибо...

* * *

Никитин стоял на том же самом месте, где он только что расстался с Федей, и смотрел на Наташино окно. Окно светилось золотисто-оранжевым светом, как спелая винограда на солнце, и казалось, что там течет совсем другая жизнь – чистая, невинная, исполненная высокого смысла. Никитин смотрел на окно и испытывал острое чувство – торжественное и щемящее одновременно. Он никогда прежде не знал в себе такого чувства. Правда, и таким пьяным он тоже никогда не был.

Появился Федя.

– Все! – с удовлетворением сказал он. – Отдал!

– А он чего?

– А его нету. Я его бабе отдал. Ну и дуру же он себе нашел! А где бутылка? Выпил?

– Ну что вы! Вот она. – Бутылка стояла на асфальте возле ног Никитина. – А вон Наташа!

Никитин показал на окно. Федя из вежливости посмотрел по направлению пальца.

– Слушай, а может, Нюрку позовем? – обрадованно предложил Федя. – Посидим, попоем, твоя поиграет, а моя попоет.

– Давайте в следующий раз. А сейчас... вы понимаете... Я с Наташей не совсем знаком и приведу с собой еще двух совершенно посторонних людей. Это неудобно...

– Можно и без Нюрки, – не обиделся Федя.

– Нет, Федя. Все равно неудобно, – мягко и настойчиво возразил Никитин. – Большое вам спасибо за все. До свидания.

Никитин повернулся и пошел.

– Жень, стой! – Федя подбежал к нему и стал на его пути.

Никитин остановился.

– Жень, я тебе друг?

– Друг.

– Так вот, слушай меня. Не ходи. Она тебя обженит. Вот зуб даю – обженит.

– И очень хорошо.

– Жень! – Федя приложил руку к сердцу. – Я старше тебя, у меня опыт... Я уже про эту бабу все понял. Я тебе все про твою жизнь могу рассказать; ты с работы вернешься, устал как черт, так она тебя домой не пустит. Приведешь товарища, сядешь поговорить, так она нос

воротит! Детей от тебя будет прятать, будто ты Гитлер... А еще я тебе скажу: она на тебя в прокуратуру на принудление подаст. Не ходи. Женя! Мой тебе совет – не ходи!

– Она не такая, – возразил Никитин. – Она нам обрадуется. Мы сейчас придем и скажем: «Здравствуйте, нам без вас одиноко». Она скажет: «А мне без вас». Мы скажем: «А мы вам духи принесли. Подарок из Франции».

– Фига мы ей принесем, – отредактировал Федя. – Духи-то в пинжаке остались. Ты же их в пинжак засунул.

* * *

На сей раз Федя звонил в квартиру Гусаковых, и на сей раз ему отворила Изабелла – в вельветовых брючках. Изабелла серьезно отличалась от бабушки в платочке, она текла в совершенно другом возрастном коридоре и совершенно другого хотела от жизни. Но Федя не заметил никакой разницы.

– Опять я, – сказал он. – Там в пинжаке Женька духи забыл. Принеси, пожалуйста.

– Какие духи? Какой Женька? – Изабелла с недоумением глядела на Федю.

– Ну, который гриппом заболел. Я ж тебе говорил. Давай неси, пожалуйста. А то нас там баба ждет.

– Ничего не понимаю, – созналась Изабелла. – Я вас первый раз вижу.

– Может, скажешь, что я тебе пинжак не давал?

– Не давали.

– Ясно, – мрачно сказал Федя, повернулся и побежал вниз по лестнице.

Изабелла пожала плечом, закрыла дверь и прошла в комнату.

Гусаков сидел за столом и печатал на иностранной машинке.

– Кто там? – спросил он, не отрываясь от дела.

– То ли пьяный, то ли ненормальный.

В дверь снова позвонили.

– Опять, – сказала Изабелла. – Иди сам открывай. Я его боюсь.

Гусаков снял очки, положил их на стол и неторопливо пошел навстречу незваному гостю.

Отворил дверь.

В дверях стоял Никитин, всклокоченный и без пиджака.

Галстук был круто сдвинут набок, рубашка вылезла из штанов. Из-за его плеча выглядывал плюгавый мужичок, были видны только его кепка и один глаз.

– Женя? – удивился Гусаков.

– А говорила: нет дома, – уличил Федя Изабеллу. – Все время врет.

– У меня к вам серьезный разговор. Разрешите? – спросил Никитин.

– Ну... вообще-то я занят.

– Мы на секундочку, – пообещал Никитин. – Пошли, Федя!

Все вошли в комнату.

Диковинные ключи не произвели на Федю никакого впечатления.

– Ну, так слушаю вас, – сказал Гусаков, садясь в глубокое кожаное кресло.

– Товарищ академик, – начал Федя, – я вашей супруге отдал пинжак, вот он свидетель, – показал на Никитина. – А она говорит, что я ей ничего не отдавал.

– Не понял. – Гусаков нахмурился. – Какой пиджак?

– Ваш, ваш, Валерий Феликсович! – вмешался Никитин. – Замшевый. Тот, что вы мне дали. Там в кармане мы забыли духи, а нам сейчас без духов нельзя.

– Господи! Ну какой пиджак! Какие духи! – возмутилась Изабелла. – Что ты их слушаешь? Неужели ты не видишь, что они оба пьяны в зюзю.

– Видал? – в свою очередь, возмущился Федя. – Значит, я, по-твоему, пинжак этот себе взял? А куда я его дел? Съел? В карман положил?

Федя вывернул карман. Оттуда вылетел полтинник, который Федя выручил за стакан.

Федя нагнулся, стал искать деньги.

– Подними ногу! – велел он Гусакову.

– Зачем?

– Жень! Скажи ему, чтоб поднял! Он на деньги наступил.

– Вот ваши деньги! – Изабелла подобрала с пола монету и брезгливо швырнула Феде.

– Тоже зажать хотели, – заподозрил Федя, пряча полтинник обратно в карман.

– А ну-ка давай убирайся отсюда! – велел Гусаков Феде. – Не то я сейчас милицию вызову!

– Вызывай! Давай разберемся! – самолюбиво согласился Федя. Обернулся к Никитину: – Видал? Дело шьют!

– Валерий Феликсович! Изабелла Петровна! – строго сказал Никитин. – Вы меня извините, конечно, но вы оскорбляете достоинство человека. Достоинство моего друга. И я протестую!

– Жень! Иди домой и проспись! А завтра поговорим, – посоветовал Гусаков.

– Валерий Феликсович! Когда мне спать и где мне спать – это мое личное дело. И если ты мой начальник, то это не дает тебе право вмешиваться в мою личную жизнь. Понятно, Валя?

– Так я сейчас вышвырну вас обоих! – Гусаков встал.

– А вот они! – беспечно заметил Федя и ткнул пальцем в раскрытую дверь. – Ну-ка иди сюда. – Он поманил Изабеллу.

Изабелла, растерявшись, пошла за Федей, Гусаков за женой, Никитин за Гусаковым. Все вошли в спальню.

На трюмо среди косметики стояла изумрудная коробочка «Клема».

– Наша? – спросил Федя.

– Наша, – опознал Никитин.

– А говорила «не брала», бесстыжие твои глаза! – упрекнул Федя, открывая коробочку. Флакон был начат. – О! Отпила уже. Ну ничего. Водой дольем. Пошли!

Федя конфисковал духи и пошел из дома Гусаковых. В дверях он обернулся и сказал Изабелле с беззлобной укоризной:

– Старуха уже, а врешь как сивый мерин.

– До свидания, – великодушно попрощался Никитин.

Они вышли и закрыли за собой дверь.

Гусаковы стояли некоторое время в растерянности и просто не знали, как себя вести.

– Так... – проговорил Гусаков. – Что ты на это скажешь?

– Все нормально, – спокойно проговорила Изабелла.

– Что именно ты считаешь нормальным? – не понял Гусаков.

– Никогда не надо делать добрые дела. Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным.

Друзья вышли из подъезда и решительно зашагали к дому напротив.

– Жлоб он и есть, – подтвердил Федя свои предположения.

– Ничего, завтра я с ним поговорю, – пообещал Никитин и вдруг на ровном месте всем телом грохнулся в лужу. И в это же самое время испуганно завизжала маленькая косматая собачонка. Дело в том, что Никитин запутался в поводке, невидимом в глубоких сумерках.

– Смотреть надо, – строго сказал хозяин, обидевшись за собаку. – Пойдем, Джек!

Джек затрусил за хозяином, потом оглянулся.

– Мяу, – сказал Никитин Джеку.

Джек ничего не понял и с удивлением посмотрел на своего хозяина.

Хозяин недоуменно пожал плечами.

Никитин поднялся и провел рукой по рубашке, пытаясь стереть грязь.

– Упал... – растерянно сказал он. – А как же я теперь пойду?

– Замыть надо, – посоветовал Федя. – Пойдем к Витьку! Он тут рядом в котельной работает.

* * *

Наташа стояла и смотрела в окно напротив. Окно было темным. Наташе казалось, будто в ней самой тоже выключили свет.

Сосед напротив не пришел, как она полагала, потому что отвлекся на более высокую идею и забыл про такое незначительное событие, как Наташа.

Сосед напротив, как ей казалось, был молодой Циолковский или молодой Ломоносов, только без парика с косичкой и тощий. Он, наверное, изобрел ракету или готовил открытие, которое со временем должно было перевернуть все человеческие возможности. Но это со временем. А сейчас он был молод, жил в однокомнатной квартире, пил по утрам молоко из пакета, а по вечерам сидел, подпершись, и смотрел на звезды.

Все знакомые молодые люди, которых она встречала, и знакомые ее знакомых были направлены на какие-то разовые радости. Они пили водку, незамысловато веселились и, казалось, не думали о том, что будет завтра и послезавтра. Их жизнь не была освещена перспективой дела, перспективой любви. День прошел – и ладно.

Наташа этого не понимала. Она постоянно к чему-то готовилась: то к вступительным экзаменам, то к выпускным. Сейчас она готовилась к конкурсу, и от этого зависела вся ее будущая жизнь. Во всяком случае, половина ее будущей жизни. А другая половина зависела не от нее, и это было очень тревожно.

Наташа подошла к телефону. Набрала «100». Равнодушный женский голос проговорил: «Двенадцать часов. Ровно». Этот голос был совершенно равнодушен ко второй половине Наташиной жизни.

Она вздохнула, подошла к дивану и сняла с него поролоновые подушки. И в этот момент раздался долгий, торжествующий звонок в дверь.

Наташа вздрогнула. Торопливо поставила подушки на место и побежала в прихожую.

Отворила дверь.

Перед ней стояли трое: Никитин, Федя и Витек, друг Феди из котельной.

– Ребята! А вот это и есть Наташа, – громко представил Никитин.

– Очень приятно. Витек. – Друг Феди степенно протянул руку.

Надо отметить, что Витьку было лет под шестьдесят.

– Федя, – познакомился Федя.

– Пошли, ребята! – пригласил Никитин и первым пошел в квартиру. – Наташа! А где тут у нас кухня?

Наташа стояла в прихожей и с недоумением оглядывала пришельцев.

Никитин сам набрел на кухню, подошел к раковине, открыл кран. Потом подставил под кран «Клема», налил туда воды. Закрыв крышку. Отнес Наташе.

– Это вам! – галантно преподнес Никитин. – Подарок из Франции.

Наташа растерянно взяла подношение.

– Проходите, – пригласил ее Федя.

Наташа прошла в свою комнату.

Мужчины уселись за стол. Федя поставил бутылку и кильки. Витек вытащил нож и стал открывать консервы.

– Наташенька, рюмочки, пожалуйста! – семейным голосом попросил Никитин.

Наташа стала доставать из серванта хрусталь.

– Маленькие, – недовольно заметил Федя. – Чашки давай.

Наташа поставила на стол рюмки и чашки.

– Садись! – велел ей Никитин.

Наташа присела на краешек стула.

– Ты любишь кильки? – спросил Никитин.

Наташа неуверенно кивнула.

– Видишь? – Никитин обернулся к Феде. – А ты говорил «икра... брильянты...». Друзья! – Он поднял чашку. – Я хочу выпить за Наташу! Этот человек никогда не будет прятать от меня моих детей и воротить нос от моих друзей!

Мужчины дружно выпили.

– Разлилось! – с удовольствием отметил Федя. – Наташ, сыграй что-нибудь!

– Вот эту... – предложил Витек и сам запел: – «Все друзья смеются надо мною, разлучить хотят меня с тобою, ради счастья своего возле дома твоего целый день, родная, ошиваюсь...»

– Люблю музыку! – растрогался Федя. – Сыграй, Наташка! Сыграй!

– Протестую! – заявил Никитин. – Наташенька! Не подходи к арфе! Я тебя к ней ревную! Я ее разобью! Выкину в окно! Лучше вы, ребята, спойте, а мы потанцуем.

Федя и Витек глубоко вздохнули и закричали песню, трогавшую их души:

– «Для тебя теперь пойду учиться, стану я районным фельшерицем, будь же ты уверена в искренней любви моей, жизнь моя заглублена тобою...»

Никитин поднялся и галантно склонился перед Наташей:

– Разрешите...

* * *

Светило солнышко. За окном пели птички. Чуть колыхались под легким ветерком тюлевые занавески.

Никитин открыл глаза. Увидел и солнышко, и занавески, и голую ступню перед собой. Сбоку к щиколотке был привязан номерок. Это была его собственная нога.

Никитин сел. Потряс головой. Увидел против себя еще одну ногу с номером. Она принадлежала Феде. Кроме них, в комнате было еще человек двенадцать, и все с номерками.

– Где я? – тихо спросил Никитин.

– В санатории, – хмуро отозвался Федя, с неодобрением глядя на Никитина.

– В каком санатории?

– В вытрезвителе. Слепой, что ли...

Федя был явно чем-то недоволен. Никитин узнавал его с трудом. Он почти не запомнил Федю и сейчас воспринимал его как незнакомого человека. И было непонятно, почему этот незнакомец так невежлив.

– А зачем? – спросил Никитин.

– А затем! – огрызнулся Федя. – На фига ты арфу в окно выкидывал! Это ж тебе не балалайка! Она десять тыщ стоит!

– Кто выкидывал? Я?

– А кто ж? Я, что ли... Теперь мне на работу напишут. Общественность прорабатывать будет. Имя трепать! Не умеешь пить, так не пей! От! Не люблю я таких людей! Не уважаю!

* * *

Прошел год.

У Никитина с Наташей родился мальчик, и в этой связи к ним приехала жить теща.

Никитины обменяли две свои однокомнатные квартиры на одну трехкомнатную и поселились в Наташином доме, двумя этажами выше.

Арфу починили, но играть было некогда. Ее разобрали и сунули на антресоли.

Мальчик рос кудрявым и толстеньким, как амурчик. Теща оказалась тихая и услужливая.

Никитина повысили, он получил место Кошелева, и вокруг него даже образовались свои подхалимы. Все складывалось замечательно – куда лучше. С прежним не сравнишь. Но время от времени, когда все ложились спать, Никитин выходил на кухню и оттуда глядел на свое окно. В его прежнюю квартиру переселился фотограф-любитель. Все стены были завешаны фотографиями, а на полу сохли свежие снимки. Некуда ногу поставить. Возле окна на столе стоял увеличитель, в нем горел красный свет.

Никитин садился на табуретку, клал руки на подоконник, голову на руки и подолгу не отрываясь смотрел на теплый красный огонек, который мигал, как маленький маяк в ночи.

Входила Наташа и спрашивала:

– Ты чего?

Никитин вздрагивал и отвечал:

– Ничего. Просто так.

И в самом деле: ничего. Просто так.

Кошка на дороге

На завтрак давали: сосиски с тушеной капустой, пшенную кашу, пончики с повидлом, кофе с молоком и кусочек масла на блюде. Официантка Лида составила с подноса все сразу, чтобы не заставлять ждать. Ласково улыбнулась и ушла.

Климов оглядел тарелки и оценил ситуацию: перед ним на столе стоял его дневной рацион. Кашу следовало бы съесть утром, сосиски с капустой – днем, а пончики – вечером. И этого вполне достаточно сорокалетнему человеку с избыточным весом, ведущему малоподвижный образ жизни. Но у Климова с детства установилась привычка – раз плачено, надо есть. Привычка осталась от голодного послевоенного детства, от нужды в семье, когда едва сводились концы с концами. Но детство и нужда давно кончились. Климов пребывал в среднем возрасте и полном достатке. От возраста и достатка он располнел, и когда надевал модные вельветовые джинсы, то приходилось подтягивать живот и только после этого застегивать молнию. Живот получался плоский, но зато выпирал желудок, пуговицы на рубашке едва сходились, и получалось, что рубашка была плотно набита Климовым.

Отправляясь в санаторий, Климов поклялся себе, что будет худеть – мало есть и много двигаться. И сейчас, поглощая пончик, он испытывал противоречивые чувства: с одной стороны – неужели у него, мужчины с высоким интеллектом, публикующего научные статьи в научных журналах, не хватает силы воли отодвинуть пончик? Встать и уйти. А с другой стороны – что такое пончик? Сначала люди сеют хлеб. Это называется посевная. Потом люди убирают хлеб. Это называется уборочная. Потом свозят зерно на мукомольный завод и там производят муку. Но это полдела. Люди собирают яблоки, круглый плод земли и солнца, грузят их в ящики и везут на консервный завод, где из яблок делают повидло и сортируют его в банки. Далее мука и повидло попадают к повару, и он все сегодняшнее утро лепил пончики с повидлом и кипятил их в растительном масле. Если разобраться, какое огромное количество труда, и стоит ли пренебречь этим? И ради чего? Ну что изменится, если Климов, скажем, похудеет за срок на три килограмма? Ничего не изменится. Это будет тот же самый Климов, только без трех килограммов. Никто даже не заметит. А если даже кто-то заметит и спросит: «Толя, ты что, похудел?» – а он ответит: «Да, я был на диете, не ел мучного и сладкого». Вот и все. Стоит ли затрачивать такое огромное количество труда во имя одной реплики одного полудурка! Или даже уважаемого человека.

Пока Климов ел и размышлял, в столовую вошли его соседи по столу. Соседка справа была деликатная старушка, похожая на засушенного кузнечика. Говорили, что в прошлом это была важная персона, не то знаменитая балерина, не то жена какого-то крупного мыслителя. А может быть, и то, и другое. И балерина, и жена. Но старушка сама ничего не рассказывала, а Климов не спрашивал. Его не интересовала чужая жизнь, если она не могла иметь к нему отношения. Старушка о себе ничего не рассказывала, хотя, может быть, ей и хотелось бы рассказать.

Напротив и слева сидели Олег и Лена. Они были счастливы и поэтому всегда опаздывали и к завтраку, и к обеду, и к ужину. Олег был здоровенный, как бурый медведь, и такой же сутулый. У него была манера постоянно острить и разговаривать форсированным звуком, как волк из «Ну, погоди!». И, глядя на Олега, Климов спрашивал себя: неужели так трудно заинтересовать просто собой? Неужели, для того чтобы вызвать к себе интерес, надо говорить не своим голосом? Разве недостаточно быть только тем, что ты есть? А может быть, Климов просто завидовал, но не отдавал себе отчета.

Лена была молодая, но не первой, а, пожалуй, второй молодостью, когда все, что должно было расцвести, – расцвело, а кое-что даже чуть-чуть повяло.

Это было не майское, а июльское цветение красоты. На ее открытой шее висели бусы, цепи и цепочки. Вообще это было некрасиво, но на ней красиво. Лицо ее чуть поблескивало от крема. Было видно, что она бережет кожу, а на Климова, скажем, ей плевать с высокой колокольни. И, глядя на ее лицо без косметики, Климов представлял себе, что она – его жена и они завтракают вместе у себя дома. Эта мысль смущала его и заставляла вспоминать то, о чем он так хотел бы забыть.

– А я все подмел, – сознался Климов соседям по столу.

– Утром это не страшно, – утешила старушка. – Главное, не есть на ночь.

– Есть надо помногу, но часто! – сострил Олег и сам засмеялся своей шутке.

Лена молчала, рассеянно глядя перед собой. Она пила чай и грела руки о стакан. Потом отломала кусочек хлеба от куска Олега. Она бессознательно хотела иметь к нему отношение. Всегда и во всем.

После завтрака Климов отправился гулять, чтобы израсходовать лишние калории. Гулять он не умел и не любил, потому что незанятый мозг устремлялся в воспоминания, в додумывание ситуаций, которые он не хотел бы додумывать до конца. Есть ситуации, которые полезнее не додумывать.

Климов вышел с территории и отправился в лес. Из всех явлений природы, а точнее, из всего природного ассортимента, как-то: огонь, море, горы, степь и так далее, Климов больше всего любил лес. Когда-то в детстве друг Славка сказал, что деревья – это умершие люди, и может статься, что в лесу среди деревьев присутствует какой-то очень дальний родственник, живший еще во времена Ивана Грозного. Климов поверил. И верил по сегодняшний день. То есть он, конечно, знал, что это не так. Но ведь никто не доказал обратного. Находясь в лесу, Климов чувствовал себя спокойно и умиротворенно, как будто приехал домой на студенческие каникулы. Лес мирил его с прошлым и настоящим. В лесу он не испытывал той сиротливой заброшенности, какую он ощущал, скажем, в вагоне метро. Наибольшее одиночество приходило к нему в скоплении людей, потому что этим людям не было до него никакого дела. У них была своя жизнь, а у него – своя.

Возле высокой сосны дорога разветвлялась на три рукава. Климов остановился, как русский богатырь, раздумывая, какую из трех дорог ему выбрать, и в это время из-за деревьев вышла кошка. Она была такая тощая и злая, что просто потеряла кошачий вид. За лесом стоял дачный поселок. Может быть, эта кошка всю зиму просидела в пустой даче, ожидая хозяев, теперь обиделась и отчаялась и вышла на дорогу, прихватив все свое отчаяние и возмущение. Кошка подняла на Климова огромные глаза, еле вмещающиеся на треугольнике морды, и принялась орать. Не мяукать, а именно – орать, делая короткие передышки, чтобы набрать воздуха и орать дальше. Глаза у нее были желтые, цвета древесных опилок, с продолговатыми прорезями зрачков.

– Чего это она? – удивленно спросил Климов у проходящей мимо бабы.

– Жрать хочет, – спокойно пояснила баба, не останавливаясь.

– Что же мне с тобой делать?.. – вслух подумал Климов и вслух же решил: – Ну ладно. Пошли.

Климов повернулся и зашагал обратно, в сторону санатория. Кошка замолчала и двинулась следом. Не возле ноги, как собака, а следом. Она не собиралась заискивать и шла там, где ей было удобнее.

Навстречу им вырулила машина с ручным управлением. В ней сидели инвалид с товарищем. Похоже, они выехали на воскресную прогулку. У них были лица людей, настроенных на удовольствие. Климов сошел с дороги, пропуская машину, и тут же провалился по колено. Кошка тоже сошла с дороги, легко ступила на наст. Она была такая тощая, что практически ничего не весила.

Машина проехала мимо, фыркнув фиолетовым облаком, и в чистом воздухе сразу запахло городом.

Подожли к санаторию. Возле корпуса Климов обернулся к кошке и сказал:

– Подожди, я сейчас.

Кошка села и стала ждать.

Климов вошел в столовую и разыскал официантку Лиду.

– У вас нет обедков? – спросил он, обаятельно улыбаясь.

– Кому? – не поняла Лида.

– Там кошка, голодная как собака... – Климов достал из кармана рубль и переместил его в карман Лидино белого фартука.

– Ой, да ну что вы. Зачем? – мило возмутилась Лида, но настроение у нее не ухудшилось.

Она качнула головой, как бы осуждая Климова за мелочность, и скрылась в недрах своего хозяйства. Через минуту вернулась и принесла небольшую кастрюлю с обедками. В кастрюле были каша, капуста, надкушенные пончики и даже несколько целых сосисок. Значит, кто-то умел себя сдерживать, хотя и платил за путевку полную стоимость. Без скидки.

Климов вернулся к кошке, поставил перед ней кастрюлю, волнуясь и одновременно ликуя от предстоящей кошкиной радости. Но кошка никакой радости не обнаружила. Она деловито опустила морду в кастрюлю и не подняла ее до тех пор, пока все не съела и не вылизала кастрюлю до стерильной чистоты. Живот у нее постепенно набухал, как у комара, севшего на руку и пьющего кровь. Наконец кошка извлекла морду из кастрюли и посмотрела на Климова. Зрачки ее из продолговатых стали круглыми.

– Еще? – спросил Климов.

Кошка промолчала. Продолжала глядеть.

Климов снова пошел к Лиде, и она снабдила обедками. На этот раз, Климов заметил, в кастрюле была преимущественно каша. Кошка тоже обратила внимание на это обстоятельство, но все равно принялась есть – наверное, впрок. Она была не уверена в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере.

Из корпуса вышла старушка, соседка Климова. На ней была черная широкая шуба с квадратными плечами, похожая на кавказскую бурку.

– Вторую кастрюлю ест, – насмешливо восхитился Климов.

– Она же лопнет... – Старушка удивленно раскрыла свои полудетские глаза. – Разве можно так перегружать голодный желудок?

Климов отобрал у кошки котелок и отнес его на кухню. Когда он вернулся, то увидел возле корпуса сестру-хозяйку Елену Дмитриевну. На ней был ватник, надетый поверх белого халата. В руках она держала стопку махровых полотенец, от этого ее спина была выпрямлена, а гордая осанка сообщала гордость всему ее существу. Как правило, люди, занимающие низкую ступеньку на престижной лестнице, любят показывать свою власть – это их способ самоутверждения. И Климов, публикующий научные статьи в научных журналах, был для сестры-хозяйки самый заурядный отдыхающий, даже хуже, чем заурядный, потому что он нарушил правила внутреннего распорядка.

– Чья кошка? – строго спросила Елена Дмитриевна.

– Ничья.

– А как она сюда попала?

– Я принес, – сознался Климов и почему-то заробел.

– Значит, ваша?

– Ну, моя...

– Не вздумайте оставлять ее здесь. Ее собаки разорвут.

Климов вспомнил, что при санатории действительно пасутся две дворняги, одна – без хвоста, и обе без гордости. Собаки-попрошайки. Каждый раз после обеда отдыхающие выно-

сили им куски и кусочки, и собаки преданно смотрели людям в руки и глаза. Конкуренцию кошки они вряд ли потерпят.

– И не вздумайте брать ее себе в номер, – предупредила сестра-хозяйка. – У нас в помещении животные запрещены.

Сестра-хозяйка повернулась и пошла, выпрямив, даже выгнув спину. Климов вспомнил почему-то, что летом она делает себе салат из трав, которые растут под ногами: подорожник, крапива, стебли одуванчиков, корни лопуха. Эти травы знают животные, а люди их не едят. Люди едят только то, что сеют. И это большое заблуждение. В беспризорных травках есть жизненная сила, которая дает уверенность плоти, а плоть сообщает свою уверенность духу, ибо, как известно, в здоровом теле – здоровый дух.

Климов вздохнул, поднял кошку с земли, посадил ее на плечо и пошел обратно, на развилку трех дорог.

На развилке он снял кошку с плеча, поставил ее на дорогу и пошел в глубину леса. Кошка зашагала следом. Климов обернулся и сказал:

– Не ходи за мной. Ты же все слышала.

Он ускорил шаг, но кошка тоже ускорила шаг.

– А ну иди отсюда! – Климов сделал свирепое лицо и затопал ногами, как бы побежал на кошку, хотя оставался на месте.

Климов прекратил бег на месте, повернулся и пошел. Кошка подумала и тоже пошла в глубину леса, за Климовым, соблюдая, однако, дистанцию.

Климов оглянулся и заключил:

– Ни стыда ни совести... А еще кошка.

Отсутствие совести у одного рождает бессовестность у другого. Климов пошарил глазами вокруг себя, поднял с земли небольшой черный сук и метнул в кошку. Кошка отскочила, давая дорогу летящему предмету. Посмотрела на сук, потом на Климова, и в ее глазах легко было прочитать: «Какой же ты подлец!»

– И очень хорошо, – сказал Климов и пошел дальше.

В глубине леса широким, размашистым шагом бежали два лыжника, один в ярко-голубом, другой в ярко-оранжевом. Климов пригляделся. Это были Олег и Лена. Лена остановилась, стала ждать Олега, изогнув стан, опершись на палки. Ей, наверное, было радостно смотреть на него – приближающегося, огромного, оранжевого, как факел. А ему нравилось приближаться к ней, небесно-голубой на фоне заснеженного леса. Они улыбались друг другу, и морозное облачко витало вокруг их губ.

Климов вспомнил свои лыжные прогулки. Обычно он одевался на лыжи, как на субботник, напяливая на себя самое распоследнее рваньё, и в результате походил на пленного немца. Казалось бы: ну и что особенного? Не все ли равно, в чем кататься? Но сейчас почудилось: было упущено в жизни что-то, связанное с достоинством.

Климов обернулся. Кошки не было.

Дорога переходила на лыжню. Идти по лыжне было неудобно, а возвращаться не хотелось. Не хотелось встречаться с кошкой. Все-таки их отношения были подпорчены. Климов вздохнул и побрел как попало, время от времени глубоко проваливаясь в снег, медленно вытаскивая ноги.

Неожиданно он выбрался к реке. Река была под снегом. В двух местах дымились две полыньи. Через реку по протоптанной тропинке шли два мальчика с портфелями, – наверное, со школы, и, наверное, эта дорога была короче. Климов стоял и смотрел, как движутся две фигурки, черные на белом, как в немо кино. Снег сверкал под солнцем. Мальчики шли навстречу своей жизни, не обычной, может быть, судьбе, и не тяготились повседневностью.

«Надо бы позвонить кому-нибудь, – подумал Климов. – Пусть приедут». А потом подумал: «Приедут из города и привезут с собой часть этого города, от которого я бежал...»

* * *

Те двое, как всегда, опаздывали, а деликатная старушка сидела на месте.

Климов успел проголодаться и с удовольствием принялся за холодную закуску.

– А где ваша кошка? – спросила старушка.

– Я ее обратно отнес, – ответил Климов, насаживая на вилку кусочек сардины с нежными оплывшими краями.

– Куда? – не поняла старушка.

– На дорогу.

– Вы бросили ее на дороге? – удивилась старушка.

– А куда я ее дену? – в свою очередь, удивился Климов.

– Что значит «дену»? Вы говорите о живом существе как о вещи...

Климов перестал есть.

– Я не понимаю, что вас не устраивает? То, что я накормил голодную кошку?

– Если вы начали принимать участие в другой судьбе, то вы должны участвовать до конца.

Или не участвовать совсем.

– Да. Но это не имеет отношения к кошкам.

– Вы не правы. Кошка – очень личностный зверь. Вы даже не представляете себе, что такое кошка. Она связана с Луной. Как море.

– Откуда вы знаете?

– Знаю. Я сама при первом рождении была кошка. – Старушка улыбнулась, как бы вышучивая свою фразу.

«Сумасшедшая», – подумал Климов.

Замолчали.

Мысленно перевернули страницу беседы.

Подошла официантка Лида и поставила перед Климовым тарелку с борщом.

Климов понял, что ему не хочется сидеть со старушкой, мысленно листать страницы бесед. Он с сожалением посмотрел на круг сметаны в золотисто-рубиновом борще и поднялся из-за стола.

– А второе? – удивилась Лида.

– Разгрузка, – лаконично ответил Климов и пошел в свою комнату.

В комнате он сел в кресло и приказал себе: не додумывать. Когда его что-то тревожило и он не знал выхода, он запрещал себе додумывать ситуацию до конца.

Климов посидел в кресле, и ему пришло в голову разрешить себе послеобеденный сон. Он не обедал, а значит, имеет право не двигаться, а лечь и поспать в течение сорока пяти минут.

Климов разделся и лег в постель, чувствуя почти счастье от белой крахмальной наволочки, от ощущения комфорта и покоя. Он взял с тумбочки книгу, открыл ее и пошел в мир, который предлагал ему автор книги. Он потолкался в этом мире, как посторонний человек, которого никто не интересуется, и закрыл глаза. А когда открыл их – было три часа ночи. Климов спал не сорок пять минут, как собирался, а десять часов, свою ночную норму. Может быть, организм устал и предложил свою дозу отдыха. А может быть, что-то на секундочку заклинило, перепутались связи и рефлексy.

За окном было темно. Хотелось есть.

Климов стал думать, чем бы заняться: читать не хотелось, спать тоже не хотелось, он уже выспался. Просто лежать и смотреть в потолок было неинтересно. Он встал, оделся и вышел на улицу.

Ночью подморозило. Снег звонко скрипел под ногами. Климов пошел своей прежней дорогой в лес. Луна стронулась с места и поплыла следом за Климовым, сопровождая его.

Деревья стояли как близкие люди, и было совсем не страшно, а, наоборот, хорошо идти одному и вести за собой Луну, как на поводке. От Луны шло свечение в небе и на земле. Климов вдруг понял, что когда-то уже видел это. Но когда? Где?

...Это было двадцать два года назад. Он учился тогда в десятом классе и они справляли Новый год у Леночки Чудаковой на даче. И именно в это время, в три часа, выскочили на улицу. Было точно такое же небо и деревья, отчетливые в лунном свете. И было еще что-то, заставляющее его дрожать. Не мороз. И не Ленка Чудакова. И не дешевый портвейн, от которого темнели зубы. Это был напор счастья – тугой, как напор воды в гибком шланге, заставивший его трепетать. Это была уверенность в близкой и полной реализации своей личности, своей любви. Он стоял на крыльце и придерживал себя за локти, чтобы не дрожать от счастья. Это было двадцать два года назад... А потом? Потом он был ярко счастлив и с такой же силой несчастлив. Но об этом лучше не помнить. Не додумывать ситуацию до конца... А собственно, почему не додумывать? Может быть, как раз взять и додумать до самого конца. И все исправить и выверить по законам его, климовской, совести... Может быть, за этим он и вышел ночью на улицу впервые за двадцать два года...

Климов остановился и вдруг заметил, что стоит на перекрестке трех дорог. Он стал смотреть по сторонам, ощупывая глазами каждый метр светлой от снега земли. Сердце его сильно стучало.

Кошка сидела под деревом, ждала его и не шевелилась. То ли уснула, то ли приготовилась ждать долго и задумалась о своем.

Климову стало жарко от прилива горячей благодарности. Значит, кошка верно оценила его душевные ресурсы. Значит, это действительно личностный зверь: ведь чем благороднее личность, тем больше добра предполагает она в других. Благородство одного рождает благородство в партнере. Климов устремился к дереву, проваливаясь почти до подмышек. И вдруг стал, будто его толкнули в грудь.

Это была не кошка. Это был сук – тот самый, которым он в нее бросил.

Климов стоял и слушал в себе опустошение. В этом опустошении гулко и трудно, будто вхолостую, билось сердце. Луна остановилась над Климовым и походила не на светящийся череп, как он где-то прочитал, а на планету, если на нее смотреть с большого расстояния. То есть Луна походила на себя самое. И Земля, наверное, выглядит так же, если на нее смотреть с Луны. Только Луна – желтая. А Земля – голубая.

Любовь и путешествия

Когда Прокушев появился утром в таксомоторном парке, к нему подошел председатель месткома Проценко и сказал, что есть туристические путевки во Францию. На десять дней.

– А сколько стоит? – поинтересовался Прокушев.

– Семьсот рублей, – сказал Проценко.

– Ого! – поразился Прокушев. – Семьсот рублей за десять дней. Я за эти деньги три месяца должен вкалывать, каждый день по семь часов.

– Ну не бери, – разрешил Проценко. – Тебя же не заставляют.

Прошла неделя. Прокушев работал то в первую смену, то во вторую. Но и в первую смену, и во вторую, а иногда и ночью он не переставал думать о туристической путевке. Конечно, думал он, десять дней в девять раз меньше, чем три месяца. Но зато ведь эти десять дней – не где-нибудь, а во Франции, где прямо по улицам ходят парижанки, и даже маленькие дети и те говорят по-французски. А три месяца, девяносто дней, так же как и все остальные дни, – это такси со счетчиком и жена Люська, которая после родов растолстела на тридцать килограмм и в ее лице появилось что-то сонное. И сколько ей ни приноси – все мало и все кажется, что Прокушев деньги зажимает, поскольку чаевые – доход неконтролируемый.

А для чего человек живет? И вообще – человек он или свинья, которая только и делает, что глядит в землю, ищет желуди. А потом постареет, шея станет тяжелой, уже не поднять головы, чтобы поглядеть в небо.

Прокушев высадил очередного пассажира, развернул машину и вернулся в таксомоторный парк. Поднялся на второй этаж, вошел в кабинет к Проценко и сказал:

– Давай путевку. Все же это Париж.

– А ты в Болгарии был? – спросил Проценко.

– Не был.

– А я был. Там вместо «да» говорят «нет». Вот так: «нет». – Проценко кивнул. – А так: «да». – Проценко отрицательно потряс головой.

– А я решил съездить во Францию, – поделился Прокушев. – Черт с ними, с деньгами. Не в деньгах счастье...

– Спихнулся, – без издевки, а скорее с симпатией заметил Проценко. – Ее уж взяли давно, твою Францию.

– Как? – не понял Прокушев.

– Всего ж две путевки было.

– А кто взял? – осевшим голосом спросил Прокушев. Он думал, что, может, еще не все потеряно и можно что-то переменить: уговорить, взяв за пуговицу и глядя в глаза.

– Ну какая разница, – не ответил Проценко, пожалев чью-то пуговицу и глаза. – Взяли, да и все.

Нос у Проценко был короткий, расстояние от носа до губы – долгое и разделено бороздкой, как у зайца. Прокушев почувствовал, что ненавидит эту бороздку. Он быстро вышел из кабинета, стал спускаться по лестнице и понял, что его раздражает эта лестница с крашеными перилами. А дома – дом, вместе с Люской и в какой-то степени, гораздо меньшей, но все же – дочкой Настькой. Настька чувствовала раздражение отца и, вернувшись из школы, обедала не на кухне, а у себя в комнатке. И сидела тихо как мышь. Люська тихо вздыхала из глубины души, жалея пропащую свою жизнь. Но тихо у нее не получалось, и она вздыхала гулко, как корова в стойле. И это вместо Парижа.

Был вторник. Четный день. Прокушев подъехал к мойке, чтобы вымыть машину, и увидел, как новенькая мойщица Райка ругается со своей непосредственной начальницей. Райка неистовствовала за стеклом. Слов не было слышно, а только видно, как Райка, в коротком пла-

тье, с волосами, убранными под ленточку, потрясает руками то вверх, то в стороны, то вместе, то поврозь. Прокушев почему-то впервые в жизни подумал о том, что человек – часть природы и Райкин гнев похож на весеннюю грозу, когда яростный дождь лупит по молодым листьям. В детстве Прокушев всегда выбегал под такую грозу, подставлял лицо дождю и жмурился. Когда это было... Если бы сейчас Прокушев выбежал под грозу, сняв ботинки, все подумали бы, что он сумасшедший, и из сострадания вынесли бы зонт.

Райка тем временем доругалась с начальницей, даже не доругалась, а прервалась на кульминации, и выскочила из мойки с лицом нежно пламенеющим, как тюльпан.

– Рая, – остановил ее Прокушев, – пойдем сегодня в кино...

– Так ты ж женатый, – удивилась Рая, наивно полагая, что женатые люди ходят в кино только с женами или не ходят вообще. Сидят дома.

– Щас женатый, щас холостой... – неопределенно пообещал Прокушев.

– Ну вот, будешь холостой, тогда и приходи, – сказала Райка, глядя на него промытыми синими глазами.

– А пойдешь? – серьезно спросил Прокушев.

– Пойду, – серьезно ответила Райка и побежала по своим делам, забыв о недавней ссоре. Потом обернулась и махнула Прокушеву куцей ладошкой.

«Еще чего... – подумал Прокушев. – Вас много. Женись на всех». Жена Люська, хоть и толстая, однако человек верный. Проверенный. Ей и с места-то лень подняться... А Райка бегают, руками машет... Иметь за спиной такую Райку – все равно что иметь шпиона в собственном генеральном штабе. Перебежит при удобном случае, как Курбский от Ивана Грозного к полякам. К тому же Прокушев – человек ревнивый до безобразия. Если что – он ее или выгонит, или убьет и сядет в тюрьму. Второе даже вероятнее. А тюрьма – это не та перспектива, к которой человек должен сознательно стремиться.

День выдался солнечный. Прокушев включил в машине приемник, станцию «Маяк». Оттуда доносилась музыка – то нежная, то веселая. Машина была полна музыкой и как бы парила в веселье и нежности. И пассажиры рядом с Прокушевым переставали торопиться, а как бы выпадали из времени и говорили почему-то об одном и том же: о странностях любви.

Прокушев вдруг понял, что влюбился в молодую мойщицу Раису Никаноровну, и понял, что состояние влюбленности – это норма. А жить без любви – это болезнь, которую нельзя запускать ни в коем случае, иначе душа умрет. Душа погибнет без любви, как мозг без кислорода. Конечно, думал Прокушев, Люська человек верный, крепкий. Да ведь как говорит теща: «Тюрьма крепка, да черт ей рад...» А с Райкой может быть счастье – такое густое, что, если пожиже развести, на три жизни хватит. И еще останется.

Целую неделю Прокушев размышлял то так, то эдак, взвешивая все «за» и «против». С одной стороны, жалко Настьку, хоть и неряха, руки об платье вытирает. А с другой стороны: через десять лет Настька вырастет, влюбится и уйдет, и не обернется. Будет звонить по телефону, поздравлять с днем рождения или с Днем Советской армии... И ради этого отказываться от личного счастья...

Через неделю Прокушев понял, что все учесть и взвесить невозможно, потому что каждое обстоятельство имеет два прямо противоположных аспекта. Надо совершить решительный поступок, а потом уже взвешивать внутри определенно создавшейся ситуации.

Прокушев надел выходной бельгийский костюм, подъехал к мойке и попросил вызвать Раису Никаноровну.

– А она уволилась, – сказала начальница, та самая, с которой она ругалась.

– Почему? – не понял Прокушев.

– Замуж вышла. Ей муж не разрешил работать в таксопарке.

– Почему? – растерянно спросил Прокушев осевшим голосом.

– Потому что шофера – мужчины, – сказала начальница и ушла.

После этого случая Прокушев в течение почти года не брал чаевые. Не из принципа и не из соображений высокой сознательности, а из равнодушия. Ему стало все – все равно. И обо всем он думал: «А какая разница?..»

Люська по собственной инициативе стала покупать ему пол-литра. Он выпивал, и равнодушие оседало из груди в живот, из живота в пятки, и тогда весь Прокушев становился – одно сплошное равнодушие. Он даже перестал раздеваться на ночь и спал в том же, в чем ходил весь день.

Люська вызвала из Ростова свою мамашу, чтобы жилось не так сиротливо. Прокушев прежде не переносил тещу, она везде оставляла волосы – в расческе, в борще. Но теперь ему было все равно. Равнодушие, как паутина, налипло на стены, свисало с потолка, и надо было разводить его руками, чтобы как-то продвигаться по квартире сквозь паутину равнодушия.

В середине марта все растаяло, а потом подморозило и образовался гололед. Машины неуправляемо крутились вокруг своей оси, и в парк каждый день приходили битые такси.

Прокушев возвращался из Домодедова и шел с нормальной для шоссе скоростью – восемьдесят километров в час, как вдруг посреди дороги возникла тощая старуха в черном – вся черная и скукоженная, как обгорелая спичка. Она шла, задумавшись, будто брела по лесной лужайке и вспоминала что-то из своей молодости. Прокушев понял, что затормозить он не успевает и у него, как всегда, два варианта: один – прямо по старушке, другой – круто вправо. Прокушев вывернул руль вправо, под высокие колеса рейсового автобуса «Интурист». У «Интуриста» не было ни одного варианта и времени на обдумывание вариантов, и он ударил прямо в «Волгу» Прокушева салатного цвета с шашечками на боку. Прокушев упал грудью на руль. А старушка, ничего не заметив, перешла шоссе и двинулась дальше, сохраняя философскую рассеянность. Прокушев успел подумать, что из-за какой-то старухи, которую на том свете обыскали с фонарями, он так серьезно разбил государственную машину и собственную грудь. И возненавидел старуху до того, что пересекло дыхание. Он потянул в себя воздух, но воздух не шел. Прокушев снова попытался вдохнуть, но у него ничего не получалось, будто нос и рот плотно зажали ладонью. Он полетел не то вверх, не то вниз, а где-то в стороне осталась его жизнь с верной толстой Люськой, любимой неряхой Настькой, весенними грозами, иными городами...

На гражданскую панихиду собрался весь таксомоторный парк. Слово взяли Проценко и еще четыре человека. Все говорили, что Прокушев был глубоко порядочным человеком и умер как герой.

Зигзаг

Младший научный сотрудник Ирина Дубровская вернулась домой со свидания и, не раздеваясь, как была в шубе и сапогах, прошла в комнату, остановилась возле окна и стала плакать.

На лестнице за дверью шел нескончаемый ремонт. Домоуправление решило навести порядок: побелить и покрасить. Лестничные марши были густо засыпаны белилами, заляпаны зеленой краской, и казалось – так будет вечно и уже никогда не будет по-другому.

В доме напротив светились редкие окна – всего четыре окна на весь дом. Люди спали в это время суток, а Ирина стояла и плакала в обнимку со своим несчастьем. И некому было подойти, оттолкнуть это несчастье, а самому стать на его место. Не было такого человека. Не было и, как казалось, никогда не будет, и не надо. И вообще ничего не надо, потому что ее жизнь – это сплошной нескончаемый ремонт, где одно ломается, другое строится, а потом после всего выясняется: то, что сломано, не надо было ломать. А то, что выстроено, не надо было строить.

Ирина увидела себя как бы со стороны – одинокую и плачущую, и ей стало жаль себя вдвойне: изнутри и со стороны. Она зарыдала в меховой рукав, чтобы не разбудить соседей за стеной, и в это время раздался телефонный звонок. Ирина сняла трубку и задержала дыхание.

– Я слушаю вас...

– Это Игорь Николаевич? – спросил далекий мужской голос.

– Вы ошиблись.

Ирина бросила трубку и собралась дальше праздновать свое несчастье, но телефон зазвонил опять.

– Это Игорь Николаевич? – опять спросил мужской голос.

– Ну неужели непонятно, что я не Игорь Николаевич? – раздраженно спросила Ирина. – У меня что, голос как у Игоря Николаевича?

– А что вы сердитесь? – удивился незнакомец.

– А что вы все время звоните?

– Я вас разбудил?

– Нет. Я не сплю.

– Вы простужены?

– С чего вы взяли?

– У вас такой голос, будто у вас насморк.

– Нет у меня насморка.

– А почему у вас такой голос?

– Я плачу.

– А хотите, я сейчас к вам приеду?

– Хочу, – сказала Ирина. – А вы кто?

– Вы меня не знаете, и мое имя вам ничего не скажет. Ваш адрес...

– Фестивальная улица, дом семь дробь девять, квартира одиннадцать.

– Легко запомнить. Нечетные числа.

– А вы где? – спросила Ирина.

– Сейчас стою на улице Горького, а по ней идут танки. И в каждом танке сидит танкист в шлеме. Слышите?

Ирина прислушалась – в отдалении действительно грохотало, будто шли большие маневры. Москва готовилась к параду.

Он появился через двадцать минут. Ирина посмотрела на него и обрадовалась, что он именно такой, а не другой. Другой, даже более красивый, понравился бы ей меньше.

У него были очки, увеличивающие глаза. Эти преувеличенные глаза делали его лицо красно-странным. Он посмотрел на нее, сидящую в пальто, как на вокзале. И сделал заключение:

– Вам не надо здесь оставаться. Вам надо переменить обстановку. Пойдемте со мной.

Ирина встала и пошла за ним. Куда? Зачем?

На улице он остановил такси и привез ее в аэропорт. В аэропорту он купил билеты, потом завел ее в самолет и вывел из самолета в городе Риге.

Было четыре часа утра, и они поехали в гостиницу. Оставшись в номере, Ирина подошла к окну. За окном занимался серый рассвет, ощущалось присутствие моря. А может быть, ничего и не ощущалось, просто Ирина знала, что море близко и это должно как-то проявляться. И климат должен быть континентальный. И серый рассвет – тоже умеренно континентальный.

Ирина стояла и ждала. Его неожиданный звонок в ночи и это неожиданное путешествие она восприняла как талантливое начало мужского интереса. А там, где есть начало, должно быть продолжение, и если следовать по данной логической схеме, то через несколько минут Он должен постучать в ее дверь, осторожно и вкрадчиво. Но то ли логическая схема была неверна, то ли не было мужского интереса – в дверь никто не стучал. Ирина подождала еще немного, не понимая, как к этому отнестись. Потом решила никак не относиться, не заниматься самоанализом, свойственным русскому интеллигенту, а просто разделась и легла спать. Трамвай лязгал так, будто били в пожарный колокол. Но Ирина спала крепко и счастливо и улыбалась во сне.

Утром Он позвонил ей по телефону и предложил позавтракать в буфете. Они ели пирожки с копченостями, взбитые сливки и удивлялись: почему эти блюда делают только в Прибалтике? До каждого блюда, как до каждого открытия, трудно догадаться, дойти своим умом. Но если кто-то уже догадался до пирожков с копченостями, то почему не подхватить это начинание. Однако взбитые сливки только в Прибалтике. Лобио – на Кавказе. Спагетти – только в Италии. Луковый суп – только во Франции. А борщ – только в России.

После завтрака они сели на электричку и поехали в Дзинтари. На Рижское взморье.

Сначала они пошли в «детский городок» и стали предаваться детским развлечениям. Качаться на качелях. Съезжать с деревянной горки на напряженных ногах. Это было весело и страшно, и она визжала от веселья и от страха. Потом стали подтягиваться на брусках. Ирина не могла преодолеть собственной тяжести, висела на руках, как куль с мукой. Он пытался приподнять ее, обхватив за колени, но она только хохотала навзрыд и в конце концов изнемогла от смеха.

Отправились гулять по побережью. Море не замерзло. На берег набегали серые волны с белыми барашками. Воздух был пронизан йодом. Возле самой воды песок обнажился, и маленькие круглые розовые раковины лежали целыми отмелями. Хотелось наступить на них ногой, чтобы хрустнули. И она действительно наступила. И они действительно хрустнули. И вдруг показалось, что так когда-то уже было в ее жизни. Но когда? Где? Может быть, в самом раннем детстве? А может быть, еще раньше, до детства. Ее дальний предок в виде звероящера вышел из моря и увидел отмели из раковин. Он увидел, а она узнала...

Сосны на берегу стояли с красными стволами, искореженными ветром. Рисунок хвои на фоне сероватого неба напоминал японские открытки.

Днем поехали в Домский собор. Слушали «Реквием» Моцарта. В первой части Ирина отвлекалась, смотрела по сторонам: на стены Домского собора, на хористов, которые казались ей ровесниками собора, каждому лет по семьсот, и даже молодые, стоящие в сопрано, выглядели так, будто их вытащили из сундука с нафталином. Ирина покосилась на Него, ища в нем признаки заинтересованности – во взгляде, в легком, нечаянном прикосновении. Но ничего такого не было: ни взгляда, ни прикосновения, ни единого признака. Он сидел, откинувшись в деревянном кресле, слушал музыку, и его лицо было обращено куда-то в свое прошлое. Он был далек, непостижим. Ничему и никому не принадлежал.

Ирина слегка удивилась и слегка обиделась. Но вдруг забыла и удивление, и обиду. Хор запел «Лакримоза». И это уже не шестьдесят разных людей пели по нотам. Это тосковал Моцарт. Его «божественное Я». Душа взметнулась и задохнулась. Ирина заплакала. Слезы шли по щекам, и вместе с ними как будто уходила боль из сердца. Поэтому слезы становились солеными, а сердце легким.

Вечером этого же дня они вернулись в Москву.

Он довел ее до дверей и снял шапку.

– Вам лучше? – спросил Он.

– Конечно, – сказала Ирина. – Раз существует море, Моцарт и вы, значит, жить не только нужно. Но и хорошо.

Он поцеловал ей руку и пошел вниз по лестнице.

Ирина стояла и смотрела, как на белых ступеньках, засыпанных известкой, остаются его следы, похожие на гигантские бобы.

Он доехал на метро до станции «Юго-Западная». Потом на автобусе до остановки «44-й квартал». Потом на лифте до своей двери. Отворил дверь своим ключом.

В прихожей стояла его жена с годовалой дочкой на руках. И дочка и жена были одинаково круглолицы, одинаково нечесаны, с вихрами во все стороны, и походили на обаятельных дикарей.

– Опять в зигзаг ходил? – спросила жена и устремила на него свои глазки, маленькие и круглые, похожие на шляпки от гвоздей.

Он не ответил. Раздевался молча.

Под «опять» жена подразумевала его предыдущий бросок в Сибирь, на Бийский витаминный завод. Кому-то срочно понадобилось облепиховое масло, и Он, естественно, выступил в роли волшебника.

– Тебе нравится поражать, – сказала жена. – Показушник несчастный. А я тут одна с ребенком... Кручусь как собака на перевозе.

Он посмотрел на жену, пытаясь представить, как ведет себя собака на перевозе, и вообще: что такое перевоз. Наверное, это большая лодка или баржа, на которой люди переправляются на другой берег. А собака не знает – возьмут ее с собой или нет, поэтому бежит и лает. Боится остаться без хозяина.

– Ты не права, – мягко сказал Он. – Ты моя собака. А я твой хозяин. Ты это знаешь.

– Все равно, – сказала жена. – Я устала. Ты хочешь сделать счастливым все человечество, а для меня ты не делаешь ничего. Для меня тебе лень. И скучно.

– А что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Хотя бы вынеси ведро. У меня уже мусор не помещается. Я его четыре раза ногой утрамбовывала.

– Но разве ты не можешь сама вынести ведро? – удивился Он. – Ты же видишь, я устал.

Он сел в кресло, снял очки и закрыл глаза.

Жена посмотрела на него с сочувствием.

– Я ничего не имею против твоих чудес, – сказала она. – Пусть люди с твоей помощью будут здоровы и счастливы. Но почему за мой счет?

Он открыл дальнзоркие глаза:

– А за чей счет делаются чудеса в сказках?

Жена подумала.

– За счет фей, – вспомнила она.

– Ну вот. Значит, ты – моя фея.

Жена хотела что-то ответить, но, пока собиралась с мыслями, он заснул. Он действительно устал.

Фея уложила дочку. Потом уложила мужа. Потом вынесла ведро. Потом вымыла посуду. Потом сварила макароны, чтобы утром их можно было быстро разогреть.

* * *

Младший научный сотрудник Ирина Дубровская проснулась в понедельник, в половине восьмого утра, и, глядя в потолок, стала соображать: было «вчера» в ее жизни или не было? С одной стороны, она помнила так явственно и вкус взбитых сливок, и рисунок еловой ветки на сероватом небе, что этого не могло не быть. Это конечно же было. А с другой стороны – никаких реальных следов, даже самолетной бирки на чемодане. И вдруг она вспомнила следы на лестнице.

Ирина вскочила с постели, побежала в прихожую, распахнула дверь на лестницу и... Так бывает только в детстве, когда прибежишь домой из школы, войдешь в комнату – а в углу елка. Или бредешь по лесу по утоптанной тропинке, и вдруг – белый гриб.

Никаких следов не было. Ни следов. Ни известки. Ни ремонта. Ремонт окончился, и рано утром тетя Маша чисто вымыла лестницу. Шашечки на полу были ярко-рыжие и по цвету совпадали с плитками. Плитки – рыжие, стены нежно-зеленые, потолки – голубовато-белые.

Лестница была праздничная, как елка, неожиданная, как белый гриб. И казалось: так будет всегда и никогда не будет по-другому.

Нахал

До Нового года оставалось семь минут. Надо было успеть проводить старый.

Все подняли рюмки, и в этот момент раздался звонок в дверь.

– Это Эдик и Рудик, – сообщил гостям хозяин дома Алик и посмотрел на рюмку, как бы решая для себя проблему очередности: сначала выпить, потом встретить гостей, либо сначала пустить их в дом, а уж потом сесть и спокойно выпить.

Гости выжидающе смотрели на хозяина дома Алика, готовые принять любую предложенную им программу.

– Одну секундочку... – извинился Алик.

Он решил проблему очередности в пользу гостей и помчался в прихожую.

Скоро он вернулся с Эдиком, но без Рудика.

Алик и Эдик стояли в дверях растерянные и смотрели на собравшихся с таким видом, будто они перепутали квартиру и видят всех в первый раз.

– Рудик под машину попал... – сказал Алик.

Все шумно вздохнули со звуком «а» и остановили дыхание. Лица у всех тоже остановились, глаза чуть вытаращились, рот чуть приоткрылся. Так продолжалось минуту или две. А может, пять.

Первым очнулся малознакомый гость.

– А кто это – Рудик? – шепотом спросил он у хозяйки дома, поскольку она сидела рядом.

– Это знакомый Эдика, – шепотом пояснила хозяйка. – Эдик – школьный товарищ Алика, а Алик – мой муж.

Малознакомый гость мелко покивал головой, как бы выражая, что он все понял и теперь может отжаться скорби более полно и осмысленно.

Пауза была расколота, посыпались вопросы:

– Насмерть?

– Не совсем.

– Что значит – не совсем: жив или мертв?

– Полуживой.

– Полуживой или полумертвый?

– Разве это не одно и то же?

– Полуживой – это оттуда сюда, а полумертвый – отсюда туда...

– А ты его когда видел?

– Я его не видел, – сказал Эдик.

– А откуда же ты знаешь, что он попал под машину?

– Мне Игнатьевы позвонили.

– А где он сейчас?

– Кто?

– Рудик, кто же еще...

– В Склифосовского, где же ему еще быть? – удивился Эдик.

– Мы должны туда поехать, – сказала хозяйка дома и первая встала из-за стола.

Гости задвигали стульями и тоже поднялись из-за стола.

Последовала минута молчания.

– И я тоже должен ехать в Склифосовского? – спросил малознакомый гость.

Он обратился в никуда, и ему не ответили. Никто точно не знал, что он должен, а что – нет. Каждый мог отвечать только за себя.

– Надо вызвать машину, – предложила красивая подруга хозяйки.

– Зачем? – с осуждением спросила некрасивая подруга, так как любая конкретность в этой ситуации выглядела неуместной.

– Ну не пешком же мы пойдем в Склифосовского?

– С Новым годом! – поздравила с телеэкрана нарядная дикторша.

Гости новогоднего «Огонька» сдвинули разом тяжелые фужеры с шампанским. Раздался нежный хрустальный звон, записанный, видимо, отдельно, потому что шампанское съедает звук и наполненные фужеры звучат глухо и коротко.

– А между прочим, с Новым годом! – как бы извиняясь, сказал пятидесятилетний легкомысленный Шурка Петров, всеобщий любимец. Он был в полтора раза старше остальных, но не замечал этого. А может, не знал, и ему не сказали.

– С Новым годом, – согласились остальные и, продолжая стоять, открыли шампанское.

Пробка не взлетела в потолок, как бы понимая неуместность высоких траекторий, а отделилась скромно, с сухим щелчком.

Все не торопясь выпили шампанское и вернули фужеры на скатерть.

На скатерти был расставлен старинный сервиз, на котором синим по белому были изображены картинки из прежней жизни: женщины – в кринолинах, мужчины – в париках с косичкой.

В центре стояла ваза с салатом. Если внимательно взглядеться, то можно разобрать, из чего салат составлен: картошка, морковка, зеленый горошек, крутое яйцо, отварное мясо, свежий огурец, соленый огурец, грецкий орех, яблоки, зеленая петрушка, и все это вяло утопало в майонезе.

Рядом на блюде лежала бледная осетрина с желтыми нежными прожилками и даже на вид была пресной.

Запеченная баранья нога выглядела красновато-коричневой. Гусь – оранжево-желтым. Белые грибы были маленькие, замаринованные вместе с ножками.

– Поехали! – напомнила хозяйка дома.

– А куда? – спросил глуповатый дальний родственник.

– К Рудику. В Склифосовского, – терпеливо объяснила хозяйка.

– В Склифосовского, но не к Рудику, – поправил дальний родственник. – К Рудику вас никто не пустит.

– Не пустят, – компетентно подтвердил Эдик, как будто побывал в больнице и знает внутренние распорядки.

– Ну, в приемной посидим, – сказала некрасивая подруга.

– Можно, конечно, и на улице постоять. Но какая Рудику от этого польза? – спросил дальний родственник. – Какая ему разница, где мы будем стоять: там или тут?

– Но должны же мы проявить... – Алик запнулся, подыскивая нужное слово, – солидарность...

– Ты можешь из солидарности выйти на улицу и броситься под машину, – сказала красивая подруга. – Но Рудику от этого легче не будет.

– Что ты предлагаешь? – спросила хозяйка.

– Врача. Ему нужна не ваша солидарность, а хороший специалист.

– У нас есть лучший специалист! – закричала жена легкомысленного Шурки. – Он профессор, академик, член-корреспондент. Член восемнадцати королевских обществ.

– А разве на земле есть восемнадцать королевств? – спросил малознакомый гость.

Он снова спросил в никуда, и ему снова не ответили.

Шурка Петров кинулся к телефону и стал звонить лучшему специалисту. Все с надеждой смотрели на его лицо. Шурка был похож на добродушного сатану.

– Занято, – сказал Шурка. – Поздравляют, наверное. Со всего мира звонят.

– А между прочим, неудобно, – сказала вдруг Шуркина жена. – Звонить старому человеку среди ночи и отсылать его на другой конец Москвы. Не так уж мы его хорошо знаем и не такие уж у нас отношения.

– Но если от этого зависит жизнь человека, – возразил хозяин, как бы оказывая на Шурку давление.

– Между прочим, в Склифосовского свои специалисты, – сказала Шуркина жена, – и, посылая своего, мы как бы оказываем недоверие им. Это даже неэтично.

– Но если внутренние специалисты будут знать, что Рудик не с улицы, они совершенно иначе к нему будут относиться, – сказала некрасивая подруга. – Это человеческая психология.

– Так все с улицы. Отделение дорожных травм, – компетентно заявил Эдик.

– У врачей своя психология, – заметил дальний родственник. – Они во всех случаях сделают все, что от них зависит.

– Но что же делать? – в отчаянье спросила хозяйка. – Мы ведь не можем ничего не делать!

– Надо позвонить в Склифосовского, навести справки.

– Звони! – приказали Шурке, поскольку он сидел возле телефона.

– А куда звонить?

– Узнай по ноль девять.

– Что – по ноль девять?

– Ну, спроси сначала институт Склифосовского. Потом спроси отделение травматологии, – руководил Эдик. – А потом позвони туда и узнай конкретно про Рудика.

Шурка стал звонить ноль девять.

– Занято, – сказал он. – Поздравляют, наверное.

– В справочном не поздравляют.

– Почему? Что там, не люди?

По телевизору объявили Аркадия Райкина.

Все отвернулись от Шурки и стали смотреть на экран.

– Иди в другую комнату, – попросила его жена. – Ты нам мешаешь и отвлекаешься сам.

Шурка взял аппарат и, волоча за собой шнур, поплелся в другую комнату.

– Давайте ешьте! – распорядилась хозяйка. – Баранину можно есть, только пока она горячая. А то потом жир стекленеет.

Все подвезли свои стулья к столу и в мгновение растащили баранью ногу по тарелкам.

Какое-то время было тихо.

– Как ты делаешь ногу? – спросила Шуркина жена.

– Я ее вымачиваю в лимоне.

– А я в уксусе.

– Уксус это не то. Уксус – химия.

– Я понимаю диких зверей, – сказал Эдик, обглаживая кость. – Я иногда жалею, что у меня язык не такой, как у волка.

– А какой язык у волка?

– Вроде напильника. Вы когда-нибудь видели, как он полирует кости?

Все отвлеклись от тарелок и попробовали представить себе то, о чем говорил Эдик.

– А у Рудика есть семья? – спросила некрасивая подруга.

– Жена.

– Бедная...

– Бедный Рудик.

– Ему уже все равно.

– Давайте выпьем.

Все выпили и потянулись к грибам, и семь вилок встретились на одной ограниченной территории.

Красивый певец в телевизионном экране пел песню о неудачной любви. Певец ассоциировался с героем песни, и всем казалось, что он поет про себя.

– Давайте потанцуем! – вздохнула некрасивая подруга.

Все встали из-за стола и перешли в другую комнату, где на кушетке сидел с телефоном голодный и трезвый Шурка.

Включили магнитофон.

– Я ничего не слышу, – пожаловался Шурка.

– Иди в коридор.

Шурка встал и, волоча за собой шнур, отправился в коридор.

Танец «Донна Анна» был индивидуально-коллективный. В центре круга плясал один человек. Солист. А остальные, взявшись за руки, двигались, медленно потряхивая ногами и плечами, как гуцулы. Потом солист целовал одного из «гуцулов», и они менялись местами.

В кругу с удовольствием плясала некрасивая подруга, и все вдруг увидели, что полнота – это очаровательный недостаток, переходящий в достоинство.

Некрасивая подруга остановилась против малознакомого гостя и поцеловала его, возможно, за то, что он был малознаком и никого не успел разочаровать. Малознакомый гость выскочил в круг. Он оказался почему-то без ботинок, в одних носках. Стал топтаться на одном месте, будто мят виноград. Потом перестал перебирать ногами, застыл, распахнул руки, закинув голову, но все равно было видно, что он танцует.

Хозяйка дома огляделась по сторонам и осторожно, не нарушая танца, вышла из круга. Пошла по квартире искать мужа, заглядывая по углам.

Мужа она нашла на лестничной площадке. Он стоял возле красивой подруги и объяснял ей преимущества кирпича над бетоном, а дерева – над кирпичом.

Жена слушать не стала. Она и так знала, что в дереве жить здоровее, чем в бетоне.

В квартире гремел магнитофон.

Шурка стоял в коридоре и кричал в трубку:

– Леша! Ты помнишь Ирку... черненькая такая... А ее мужа помнишь?.. Под машину попал! Да! Вот так!.. И тебя поздравляю!

Шурка клал трубку, набирал новый номер и снова кричал:

– Таня! Помнишь Рудика?.. В третьем подъезде жил, возле булочной... Ну, учился с Эдиком до седьмого класса... Ну, Эдик, неужели не помнишь?.. Еще кошек для института ловил... Ну, а у него еще брат заикался...

Хозяйка подошла к Шурке, взяла у него трубку и бросила ее на рычаг.

– Ты чего? – удивился Шурка.

– А если я попаду под машину, ты тоже будешь так всем звонить?

– Конечно! Надо же сообщить...

– А я не хочу!

Хозяйка отобрала у Шурки аппарат и бросила его на пол.

Из комнаты вышли танцующие. С площадки вернулся муж с подругой.

– Если я попаду под машину, ты перекрестишься! – крикнула хозяйка.

– Почему? – не понял Алик. – Живи, пожалуйста. Чем ты мне мешаешь?

– Ты женишься в тот же день, и твоя новая жена будет носить мои вещи.

– А что у тебя есть такого, чтобы можно было надеть? – спросила красивая подруга.

– Прекратите беспредметный разговор! – потребовал дальний родственник.

– Чего она хочет? – спросила Шуркина жена.

– Чтобы, когда она попадет под машину, я никому не говорил.

– Не скажет! – поклялась Шуркина жена.

– Не скажем! – пообещали гости.

– Господи, опять про покойников! – возмутилась красивая подруга. – Я не понимаю: это Новый год или поминки?

Хозяйка закрыла лицо руками и громко зарыдала.

Кто-то выключил магнитофон. Стало тихо и скорбно.

И в этот момент растворилась незапертая дверь, и на пороге обозначился человек. Он был в пальто и без шапки. Пьяная деликатная улыбка неуправляемо плавала по его лицу.

Все шумно вздохнули со звуком «а» и остановили дыхание. Лица у всех тоже остановились. Глаза чуть вытаращились. Так продолжалось минуту или две.

– Кто это? – шепотом спросил малознакомый гость.

– Рудик, – шепотом ответил Эдик.

– Лучше поздно, чем никогда, – извинился Рудик, с трудом ставя слова друг подле друга.

Пауза была расколота.

– Нахал! – отчетливо произнес голодный трезвый Шурка.

– Нахал! – хором отозвались гости. – Весь праздник испортил!

Повести

Старая собака

Инна Сорокина приехала в санаторий не за тем, чтобы лечиться, а чтобы найти себе мужа. Санаторий был закрытого типа, для высокопоставленных людей, там вполне мог найтись для нее высокопоставленный муж. Единственное условие, которое она для себя оговорила, – не старше восьмидесяти двух лет. Все остальное, как говорила их заведующая Ираида, имело место быть.

Инне шел тридцать второй год. Это не много и не мало, смотря с какой стороны смотреть. Например, помереть – рано, а вступать в комсомол – поздно. А выходить замуж – последний вагон. Поезд уходит. Вот уже мимо плывет последний вагон. У них в роддоме тридцатилетняя женщина считается «старая первородящая».

Замужем Инна не была ни разу. Тот человек, которого она любила и на которого рассчитывала, очень симпатично слинял, сославшись на объективные причины. Причины действительно имели место быть, и можно было понять, но ей-то что. Это ведь его причины, а не ее.

В наше время принято выглядеть на десять лет моложе. Только малокультурные люди выглядят на свое. Инна не была малокультурной, но выглядела на свое – за счет лишнего веса. У нее было десять лишних килограмм. Как говорил один иностранец: «Ты немножко тольстая, стрёмительная, и у тебя очень красивые глаза...»

Инна была «немножко тольстая», высокая крашенная блондинка. Волосы она красила югославской краской. Они были у нее голубоватые, блестящие, как у куклы из магазина «Лейпциг». Время от времени она переставала краситься – из-за хандры, или из-за того, что пропадала краска, или лень было ехать в югославский магазин, – и тогда от корней начинали взрастать ее собственные темно-русые волосы. Они отрастали почти на ладонь, и голова становилась двухцветной – половина темная, а половина белая.

Сейчас волосы были тщательно прокрашены и промыты и существовали в причёске под названием «помоталка». Идея причёски состояла в следующем: вымыть голову ромашковым шампунем и помотать головой, чтобы они высохли естественно и вольно, без парикмахерского насилия.

Одета Инна была в белые фирменные джинсы и белую рубаху из модной индийской марли и в этом белом одеянии походила на индийского грузчика, с той только разницей, что индийские грузчики – худые брюнеты, а Инна – плотная блондинка.

Войдя в столовую, Инна оглядела зал. Публика выглядела как филиал богадельни. Старость была представлена во всех вариантах, во всем своем многообразии. Средний возраст, как она мысленно определила, – сто один год.

Инна поняла, что зря потратила отпуск, и деньги на путевку, и деньги на подарок той бабе, которая эту путевку доставала.

Инну посадили за стол возле окна на шесть человек. Против нее сидела старушка с розовой лысинкой, в прошлом клоун, и замужняя пара. Он – по виду завязавший алкоголик. У него были неровные зубы, поэтому неровный язык, как хребет звероящера, и привычка облизываться. Она постоянно улыбалась, хотела понравиться Инне, чтобы та, не дай Бог, не украла ее счастье в виде завязавшего алкоголика с ребристым языком. Одета была как чучело, будто вышла не в столовую высокопоставленного санатория, а собралась в турпоход по болотистой местности.

Завтрак подавали замечательный, с деликатесами. Но какое это имело значение? Ей хотелось пищи для души, а не для плоти. Хотелось влюбиться и выйти замуж. А если не влюбиться,

то хотя бы просто устроиться. Человеческая жизнь рассчитана природой так, чтобы успеть взрастить два поколения – детей и внуков. Поэтому все надо успеть своевременно. Эту беспощадную своевременность Инна наблюдала в прошлый отпуск в деревне. Три недели стояла земляника, потом пошла черника, а редкие земляничные ягоды будто напились воды. Следом – малина. За малиной – грибы. Было такое впечатление, что все эти дары лета выстроились в очередь друг за дружкой и тот, кто стоит в дверях, выпускает их одного за другим на определенное время. И каждый вид знает, сколько ему стоять. Так и человеческая жизнь: до четырнадцати лет – детство. От четырнадцати до двадцати четырех – юность. С двадцати четырех до тридцати пяти – молодость. Дальше Инна не заглядывала. По ее расчетам, ей осталось три года до конца молодости, и за эти три года надо было успеть что-то посеять, чтобы потом что-то взрастить.

Внешне Инна была высокая блондинка. А внутренне – наивная хамка. Наивность и хамство – качества полярно противоположные. Наивность связана с чистотой, а хамство – с цинизмом. Но в Инне все это каким-то образом совмещалось – наивность с цинизмом, ум с глупостью и честность с тяготением к вранью. Она была не врунья, а вруша. На первый взгляд это одно и то же. Но это совершенно разные вещи. По задачам. Врунья врет в тех случаях, когда путем вранья она пытается чего-то достичь. В данном случае – это оружие. Средство. А вруша врет просто так. Ни за чем. Знакомясь с людьми, она говорила, что работает не в родильном доме, а в кардиологическом центре, потому что сердце казалось ей более благородным органом, чем тот, с которым имеют дело акушерки. В детстве она утверждала, что ее мать не уборщица в магазине, а киноактриса, работающая на дубляже (поэтому ее не бывает видно на экранах).

Наивность среди прочих проявлений заключалась в ее манере задавать вопросы. Она, например, могла остановить крестьянку и спросить: «А хорошо жить в деревне?» Или спросить у завязавшего алкоголика: «А скучно без водки?» В этих вопросах не было ничего предосудительного. Она действительно была горожанка, никогда не жила в деревне, никогда не спивалась до болезни, и ее интересовало все, чего она не могла постичь собственным опытом. Но, встречаясь с подобным вопросом, человек смотрел на Инну с тайным желанием понять: она дура или придуривается?

Что касается хамства, то оно имело у нее самые разнообразные оттенки. Иногда это было веселое хамство, иногда обворожительное, создающее шарм, иногда умное, а потому циничное. Но чаще всего это было нормальное хамское хамство, идущее от постоянного общения с людьми и превратившееся в черту характера. Дежуря в предродовой, она с трудом терпела своих рожениц, трубящих как слоны, дышащих как загнанные лошади. И роженицы ее боялись и старались вести себя прилично, и бывали случаи – рожали прямо в предродовой, потому что стеснялись позвать лишний раз.

Возможно, это хамство было как осложнение после болезни – дефект неустроенной души. Лечить такой дефект можно только лаской и ощущением стабильности. Чтобы любимый муж, именно муж, звонил на работу и спрашивал: «Ну, как ты?» Она бы отвечала: «Да ничего...» Или гладил бы по волосам, как кошку, и ворчал без раздражения: «Ну что ты волосы перекрашиваешь? И тут врешь. Только бы тебе врать».

Прошла неделя. Погода стояла превосходная. Инна томилась праздностью, простым душой и каждое утро после завтрака садилась на лавочку и поджидала: может, придет кто-нибудь еще. Тот, кто должен приехать. Ведь не может же Он не приехать, если она ТАК его ждет.

Клоунесса усаживалась рядом и приставала с вопросами. Инна наврала ей, что она психоаналитик. И клоунесса спрашивала, к чему ей ночью приснилась потрошенная курица.

– Вы понимаете, я вытащила из нее печень и вдруг понимаю, что это моя печень, что это я себя потрошу...

– А вы Куприна знали? – спросила Инна.

- Куприна? – удивилась клоунесса. – А при чем здесь Куприн?
- А он цирк любил.
- Старушка подумала и спросила:
- А как вы думаете, есть жизнь после жизни?
- Я ведь не апостол Петр. Я психоаналитик.
- А что говорят психоаналитики?
- Конечно, есть.
- Правда? – обрадовалась старушка.
- Конечно, правда. А иначе – к чему все это?
- Что «это»?
- Ну Это. Все.
- Честно сказать, я тоже так думаю, – шепотом поделилась клоунесса. – Мне кажется, что Это начало Того. А иначе зачем Это?
- Чтобы нефть была.
- Нефть? А при чем тут нефть?
- Каменный уголь – это растения. Торф. А нефть – это люди. Звери.
- Но я не хочу в нефть.
- Мало ли что...
- Но вы же только что сказали «есть», а сейчас говорите – нефть, – обиделась старушка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.